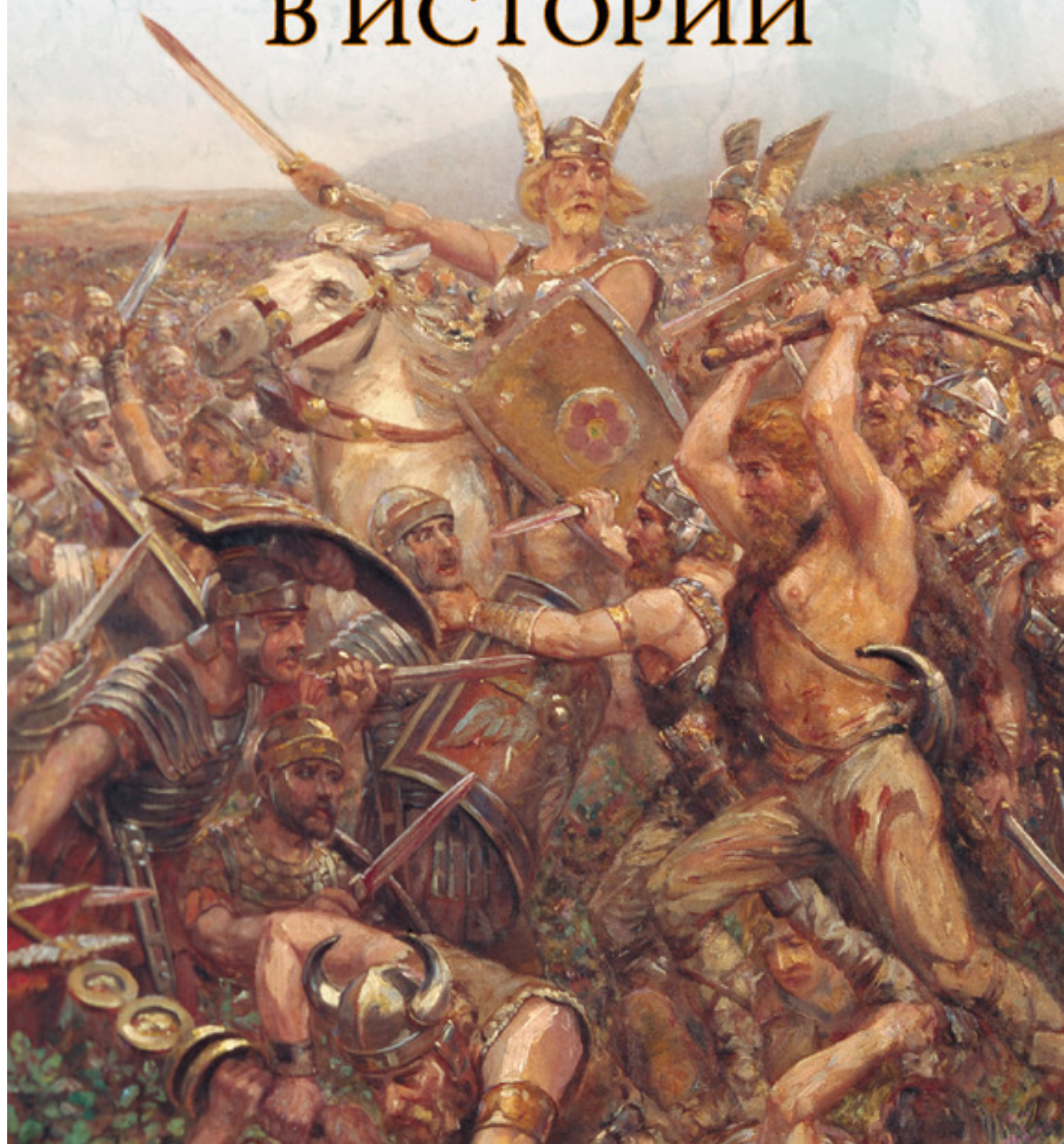


■ Томас Карлейль ■

ГЕРОИ, ПОЧИТАНИЕ ГЕРОЕВ И ГЕРОИЧЕСКОЕ В ИСТОРИИ



Томас Карлейль

**Герои, почитание героев
и героическое в истории**

«Издательство АСТ»

2012

Карлейль Т.

Герои, почитание героев и героическое в истории / Т. Карлейль —
«Издательство АСТ», 2012

Роль личности в истории. «Культ героизма», «божественное предназначение», становление человека, с юных лет осознающего свое право и долг распоряжаться судьбами миллионов. Таковы темы основных исторических произведений Томаса Карлейля — выдающегося ученого, искренне верившего в то, что человечество обязано своим прогрессом и продвижением вперед не столько массам, сколько исключительным, возвышавшимся над толпой личностям. Одних постигло трагическое поражение, другие одержали победу над своей эпохой — но все они сумели изменить время, в которое жили, и страны, которыми управляли. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

Герои, почитание героев и героическое в истории	5
Беседа первая Герой как божество. Один: язычество, скандинавская мифология	5
Беседа вторая Герой как пророк. Магомет: ислам	30
Беседа третья Герой как поэт. Данте. Шекспир	52
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Томас Карлейль

Герои, почитание героев и героическое в истории

Герои, почитание героев и героическое в истории

Беседа первая Герой как божество. Один: язычество, скандинавская мифология

В настоящих беседах я имею в виду развить несколько мыслей относительно великих людей: каким образом они проявляли себя в делах нашего мира, какие внешние формы принимали в процессе исторического развития, какое представление о них составляли себе люди, какое дело они делали. Я намерен говорить о героях, их роли, о том, как относились к ним люди; что я называю почитанием героев и героическим в человеческих делах.

Бесспорно, это слишком пространная тема. Она заслуживает несравненно более обстоятельного рассмотрения, чем то, какое возможно для нас в данном случае. Пространная тема беспредельна, на самом деле она столь же обширная, как и сама всемирная история. Ибо всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на земле. Они, эти великие люди, были вождями человечества, воспитателями, образцами и, в широком смысле, творцами всего того, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, чего она хотела достигнуть. Все, содеянное в этом мире, представляет, в сущности, внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир. История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории. Поэтому совершенно ясно, что избранная нами тема по своей обширности никоим образом не может быть исчерпана в наших беседах.

Одно, впрочем, утешительно: великие люди, каким бы образом мы о них ни толковали, всегда составляют крайне полезное общество. Даже при самом поверхностном отношении к великому человеку мы все-таки кое-что выигрываем от соприкосновения с ним. Он – источник жизненного света, близость которого всегда действует на человека благотворительно и приятно. Это – свет, озаряющий мир, освещающий тьму мира. Это – не просто возжженный светильник, а скорее природное светило, сияющее, как дар неба; источник природной, оригинальной прозорливости, мужества и героического благородства, распространяющий всюду свои лучи, в сиянии которых всякая душа чувствует себя хорошо. Как бы там ни было, вы не станете роптать на то, что решились поблуждать некоторое время вблизи этого источника.

Герои, взятые из шести различных сфер и притом из весьма отдаленных эпох и стран, крайне не похожие друг на друга лишь по своему внешнему облику, несомненно, осветят нам многие вещи, раз мы отнесемся к ним доверчиво. Если бы нам удалось хорошо разглядеть их, то мы проникли бы до известной степени в самую суть мировой истории. Как счастлив буду я, если успею в такое время, как ныне, показать вам, хотя бы в незначительной мере, все значение героизма, выяснить божественное отношение (так должен я назвать его), существующее во все времена между великим человеком и прочими людьми, и, таким образом, не то чтобы исчерпать предмет, а лишь, так сказать, подготовить почву! Во всяком случае, я должен попытаться.

Во всех смыслах хорошо сказано, что религия человека составляет для него самый существенный факт, – религия человека или целого народа. Под религией я разумею здесь не церковное вероисповедание человека, догматы веры, признание которых он свидетельствует крестным знаменем, словом или другим каким-либо образом; не совсем это, а во многих случаях совсем не это. Мы видим людей всякого рода исповеданий одинаково почтенных или непочтенных, независимо от того, какого именно верования придерживаются они. Такого рода исповедание подтверждает, по моему разумению, еще не религия. Оно составляет часто одно лишь внешнее исповедание человека, свидетельствует об одной лишь логико-теоретической стороне его, если еще имеет даже такую глубину. Но то, во что человек верит на деле (хотя в этом он довольно часто не дает отчета даже самому себе и тем менее другим), принимает близко к сердцу, считает достоверным во всем, касающемся его жизненных отношений к таинственной вселенной, долга, судьбы; то, что при всяких обстоятельствах составляет главное для него, обуславливает и определяет собой все прочее, – вот это его религия, или, быть может, его чистый скептицизм, его безверие.

Религия – это тот образ, каким человек чувствует себя духовно связанным с невидимым миром или с не-миром. И я утверждаю: если вы скажете мне, каково это отношение человека, то вы тем самым с большой степенью достоверности определите мне, каков этот человек и какого рода дела он совершит. Поэтому-то как относительно отдельного человека, так и относительно целого народа мы первым делом спрашиваем, какова его религия? Язычество ли это с его многочисленным сонмом богов – одно лишь чувственное представление тайны жизни, причем за главный элемент признается физическая сила? Христианство ли – вера в невидимое, не только как в нечто реальное, но и единственную реальность? Время, покоящееся в каждое самое ничтожное свое мгновение на вечности? Господство языческой силы, замененное более благородным верховенством, верховенством святости? Скептицизм ли, сомневающийся и исследующий, существует ли невидимый мир, существует ли какая-либо тайна жизни или все это одно лишь безумие, то есть сомнение, а быть может, неверие и полное отрицание всего этого? Ответить на поставленный вопрос – это значит уловить самую суть истории человека или народа.

Мысли людей породили дела, которые они делали, а самые их мысли были порождены их чувствами. Нечто невидимое и спиритическое, присущее им, определило то, что выразилось в действии; их религия, говорю я, представляла для них факт громадной важности. Как бы нам ни приходилось ограничивать себя в настоящих беседах, мы думаем, что полезно будет сосредоточить наше внимание на обозрении главным образом этой религиозной фазы. Ознакомившись хорошо с ней, нам нетрудно будет уяснить и все остальное. Из нашей серии героев мы займемся прежде всего одной центральной фигурой скандинавского язычества, представляющей эмблему обширнейшей области фактов. Прежде всего, да позволено нам будет сказать несколько слов вообще о герое, понимаемом как божество, – старейшей, изначальной форме героизма.

Конечно, это язычество представляется нам явлением крайне странным, почти непонятным в настоящее время: какая-то непроходимая чаща всевозможных призраков, путаницы, лжи и нелепости; чаща, которой поросло все поле жизни и в которой безнадежно блуждали люди. Явление, способное вызвать в нас крайнее удивление, почти недоверие, если бы только можно было не верить в данном случае. Ибо действительно нелегко понять, каким образом здравомыслящие люди, глядящие открытыми глазами на мир Божий, могли когда бы то ни было невозмутимо верить в такого рода доктрины и жить по ним. Чтобы люди поклонялись подобному же им ничтожному существу, человеку, как своему богу, и не только ему, но также – пням, камням и вообще всякого рода одушевленным и неодушевленным предметам; чтобы они принимали этот бессвязный хаос галлюцинаций за свои теории вселенной, – все это кажется нам невероятной басней. Тем не менее не подлежит никакому сомнению, что они поступали

именно так. Такие же люди, как и мы, действительно придерживались подобной отвратительной и безысходной путаницы в своих лжепочитаниях и лжеверованиях и жили в соответствии с ними. Это странно. Да, нам остается лишь остановиться в молчании и скорби над глубинами тьмы, таящейся в человеке, подобно тому как мы, с другой стороны, радуемся, достигая вместе с ним высот более ясного созерцания. Все это было и есть в человеке, во всех людях и в нас самих.

Некоторые теоретики не долго задумываются над объяснением языческой религии. Все это, говорят они, одно сплошное шарлатанство, плутни жрецов, обман. Ни один здравомыслящий человек никогда не верил в этих богов, он лишь притворялся верующим, чтобы убедить других, всех тех, кто не достоин даже называться здравомыслящим человеком! Но мы считаем своею обязанностью протестовать против такого рода объяснений человеческих деяний и человеческой истории, и нам нередко придется повторять это.

Здесь, в самом преддверии наших бесед, я протестую против приложения такой гипотезы к паганизму [язычеству] и вообще всякого рода другим «измам», которыми люди, совершая свой земной путь, руководствовались в известные эпохи. Они признавали в них бесспорную истину, или иначе они не приняли бы их. Конечно, шарлатанства и обмана существует вдоволь; в особенности они страшно наводняют собою религии на склоне их развития, в эпохи упадка; но никогда шарлатанство не являлось в подобных случаях творческой силой; оно означало не здоровье и жизнь, а разложение и служило верным признаком наступающего конца! Не будем же никогда упускать этого из виду. Гипотеза, утверждающая, что шарлатанство может породить верование, о каком бы веровании ни шло дело, распространенном хотя бы даже среди диких людей, представляется мне самым плачевным заблуждением. Шарлатанство не создает ничего; оно несет смерть повсюду, где только появляется. Мы никогда не заглянем в действительное сердце какого бы то ни было предмета, пока будем заниматься одними только обманами, наслоившимися на нем. Не отбросим совершенно эти последние как болезненные проявления, извращения, по отношению к которым единственный наш долг, долг всякого человека, состоит в том, чтобы покончить с ними, смести их прочь, очистить от них как наши мысли, так и наши дела.

Человек является повсюду прирожденным врагом лжи. Я нахожу, что даже великий ламаизм и тот заключает в себе известного рода истину. Прочтите «Отчет о посольстве» в страну ламаизма Тернера¹, человека искреннего, пронизательного и даже несколько скептического, и судите тогда. Этот бедный тибетский народ верит в то, что в каждом поколении неизменно существует воплощение провидения, ниспосылаемое этим последним. Ведь это, в сущности, верование в своего рода папу, но более возвышенное. Именно верование в то, что в мире существует величайший человек, его можно отыскать и, раз он действительно отыскан, к нему должно относиться с безграничною покорностью! Такова истина, заключающаяся в великом ламаизме. Единственное заблуждение представляет здесь самое «отыскивание». Тибетские жрецы практикуют свои собственные методы для открытия величайшего человека, пригодного стать верховным властителем над ними. Низкие методы. Но много ли они хуже наших, при которых в известной генеалогии за первенцем признается такая пригодность? Увы, трудно найти надлежащие методы в данном случае!..

Язычество только тогда станет доступно нашему пониманию, когда мы прежде всего допустим, что для своих последователей оно некогда составляло действительную истину. Будем считать вполне достоверным, что люди верили в язычество, – люди, смотрящие на мир Божий открытыми глазами, люди со здоровыми чувствами, созданные совершенно так же, как и мы, – и что, живи мы в то время, мы сами также верили бы в него. Теперь спросим лишь, чем могло быть язычество?

Другая теория, несколько более почтенная, объясняет все аллегориями. Язычество, говорят теоретики этого рода, представляет игру поэтического воображения, главное отражение

(в виде аллегорической небылицы, олицетворения или осязаемой формы), отбрасываемое от того, что поэтические умы того времени знали о вселенной и что они воспринимали из нее. Такое объяснение, прибавляют они при этом, находится в соответствии с основным законом человеческой природы, который повсюду деятельно проявляет себя и ныне, хотя по отношению к менее важным вещам. А именно: все, что человек сильно чувствует, он старается, так или иначе, высказать, воспроизвести в видимой форме, наделяя известный предмет как бы своего рода жизнью и историческою реальностью.

Несомненно, такой закон существует, и притом это один из наиболее глубоко корнящихся в человеческой природе законов. Мы не станем также подвергать сомнению, что и в данном случае он оказал свое глубокое действие. Гипотеза, объясняющая язычество деятельностью этого фактора, представляется мне несколько более почтенной; но я не могу признать ее правильной. Подумайте, стали ли бы мы верить в какую-нибудь аллессию, в игру поэтического воображения, и признавать ее за руководящее начало в своей жизни? Конечно, мы потребовали бы от нее не забавы, а серьезности. Жить действительною жизнью – самое серьезное дело в этом мире; смерть также не забава для человека. Жизнь человека никогда не представлялась ему игрой; она всегда была для него суровой действительностью, совершенно серьезным делом!

Таким образом, по моему мнению, хотя эти теоретики-аллессисты находились в данном случае на пути к истине, тем не менее они не достигли ее. Языческая религия представляет действительно аллессию, символ того, что люди знали и чувствовали относительно вселенной. Да и все религии вообще суть такие же символы, изменяющиеся всегда по мере того, как изменяется наше отношение к вселенной. Но выставлять аллессию как первоначальную, производящую причину, тогда как она является скорее следствием и завершением, значит совершенно извращать все дело, даже просто выворачивать его наизнанку. Не в прекрасных аллессиях, не в совершенных поэтических символах нуждаются люди. Им необходимо знать, во что они должны верить относительно этой вселенной; по какому пути должны идти; на что могут рассчитывать и чего должны бояться в этой таинственной жизни; что они должны делать и чего не делать.

«Путь паломника»² – также аллессия, прекрасная, верная и серьезная, но подумайте, разве аллессия Беньяна могла предшествовать вере, которую она символизировала! Сначала должна существовать вера, признаваемая и утверждаемая всеми. Тогда уже, как тень ее, может явиться аллессия. При всей ее серьезности, это будет, можно сказать, забавная тень, простая игра воображения по сравнению с тем грозным фактом и с той научною достоверностью, которые она пытается воплотить в известные поэтические образы. Аллессия не порождает уверенности, а сама является продуктом последней. Такова аллессия Беньяна, таковы и все другие. Поэтому относительно язычества мы должны еще предварительно исследовать, откуда явилась эта научная уверенность, породившая такую беспорядочную кучу аллессий, ошибок, такую путаницу? Что она такое и каким образом она сложилась?

Конечно, безрассудной попыткой оказалось бы всякое притязание «объяснить» здесь, или в каком угодно другом месте, такое отдаленное, лишенное связности, запутанное явление, как это окутанное густыми облаками язычество, представляющее собою скорее облачное царство, чем отдаленный континент твердой земли и фактов! Оно уже более не реальность, хотя было некогда реальностью. Мы должны понять, что это кажущееся царство облаков действительно было некогда реальностью, не одна только поэтическая аллессия и, во всяком случае, не шарлатанство и обман породили его.

Люди, говорю я, никогда не верили в праздные песни, никогда не рисковали жизнью своей души ради простой аллессии. Люди во все времена, и особенно в серьезную первоначальную эпоху, обладали каким-то инстинктом угадывать шарлатанов и питали к ним отвращение.

Оставляя в стороне как теорию шарлатанства, так и теорию аллегории, постараемся внимательно и с симпатией прислушаться к отдаленному, неясному гулу, доходящему к нам от веков язычества. Не удастся ли нам убедиться по крайней мере в том, что в основе их лежит известного рода факт, что и языческие века не были веками лжи и безумия, но что они на свой собственный, хотя и жалкий, лад отличались также правдивостью и здравомыслием!

Вы помните одну из фантазий Платона о человеке, который дожил до зрелого возраста в темной пещере и которого затем внезапно вывели на открытый воздух посмотреть восход солнца. Каково, надо полагать, было его удивление, восторженное изумление при виде зрелища, ежедневно созерцаемого нами с полным равнодушием! С открытым, свободным чувством ребенка и вместе с тем со зрелым умом возмужалого человека глядел он на это зрелище, и оно воспламенило его сердце. Он распознал в нем божественную природу, и душа его поверглась перед ним в глубоком почитании. Да, таким именно детским величием отличались первобытные народы. Первый

мыслитель-язычник среди диких людей, первый человек, начавший мыслить, представлял собою именно такого возмужалого ребенка Платона: простосердечный и открытый, как дитя, но вместе с тем в нем чувствуются уже сила и глубина зрелого человека. Он не дал еще природе названия, не объединил еще в одном слове все это бесконечное разнообразие зрительных впечатлений, звуков, форм, движений, что мы теперь называем общим именем – «вселенная», «природа» или как-либо иначе и, таким образом, отделяемся от них, одним словом.

Для дикого, глубоко чувствовавшего человека все было еще ново, не прикрыто словами и формулами. Все стояло перед ним в оголенном виде, ослепляло его своим светом, прекрасное, грозное, невыразимое. Природа была для него тем, чем она остается всегда для мыслителя и пророка, – сверхъестественной.

Эта скалистая земля, зеленая и цветущая, эти деревья, горы, реки, моря со своим вечным говором; это необозримое, глубокое море лазури, реющее над головой человека; ветер, пронсящийся вверху; черные тучи, громоздящиеся одна на другую, постоянно изменяющие свои формы и раздражающиеся то огнем, то градом и дождем, – что такое все это? Да, что? В сущности, мы не знаем этого до сих пор и никогда не в состоянии будем узнать. Мы избегаем затруднительного положения благодаря вовсе не тому, что обладаем большею прозорливостью, а благодаря своему легкому отношению, своему невниманию, недостатку глубины в нашем взгляде на природу. Мы перестаем удивляться всему этому только потому, что перестаем думать об этом. Вокруг нашего существа образовалась толстая, затвердевшая оболочка традиций, ходячих фраз, одних только слов, плотно и со всех сторон обволакивающая всякое понятие, какое бы мы ни составили себе. Мы называем этот огонь, прорезывающий черное, грозное облако, «электричеством», изучаем его научным образом и путем трения шелка и стекла вызываем нечто подобное ему; но что такое оно? Что производит его? Откуда появляется оно? Куда исчезает? Наука много сделала для нас. Но жалка та наука, которая захотела бы скрыть от нас всю громаду, глубину, святость нескончаемого незнания, куда мы никогда не можем проникнуть и на поверхности которого все наше знание плавает подобно легкому налету. Этот мир, несмотря на все наше знание и все наши науки, остается до сих пор чудом, удивительным, неисповедимым, волшебным для всякого, кто задумается над ним.

А великая тайна времени, не представляет ли она другого чуда? Безграничное, молчаливое, никогда не знающее покоя, это так называемое время. Катящееся, устремляющееся, быстрое, молчаливое, как все уносящий прилив океана, в котором мы и вся вселенная мелькаем, подобно испарениям, тени, появляясь и исчезая, – оно навсегда останется в буквальном смысле чудом. Оно поражает нас, и мы умолкаем, так как нам недостает слов, чтобы говорить о нем. Эта вселенная, увы, – что мог знать о ней дикий человек? Что можем знать даже мы? Что она – сила, совокупность сил, сложенных на тысячу ладов. Сила, которая не есть мы, – вот и все. Она не мы, она – нечто совершенно отличное от нас.

Сила, сила, повсюду сила; мы сами – таинственная сила в центре всего этого. «Нет на проезжей дороге такого гниющего листа, который не заключал бы в себе силы: иначе как бы он мог гнить?» Да, несомненно, даже для мыслителя-атеиста, если таковой вообще возможен, это должно составлять также чудо. Этот громадный, беспредельный вихрь силы, объемлющий нас здесь; вихрь, никогда не стихающий, столь же высоко вздымающийся, как сама необъятность, столь же вековечный, как сама вечность. Что такое он? Творение Бога, отвечают люди религиозные, творение всемогущего Бога! Атеистическое знание, со своим научным перечнем названий, со своими ответами и всякой всячиной, лепечет о нем свои жалкие речи, как если бы дело шло о ничтожном, мертвом веществе, которое можно разлить в лейденские банки³ и продавать с прилавка. Но природный здравый смысл человека во все времена, если только человек честно обращается к нему, провозглашает, что это – нечто живое. О да, нечто невыразимое, божественное, по отношению к чему, как бы ни было велико наше знание, нам более всего приличествует благоговение, преклонение и смирение, молчаливое поклонение, если нет слов.

Затем я замечу еще: то дело, для которого в такое время, как наше, необходим пророк или поэт, поучающий и освобождающий людей от этого нечестивого прикрытия, перечня названий, ходячих научных фраз, в прежние времена совершал сам для себя всякий серьезный ум, не загроможденный еще подобными представлениями. Мир, являющийся теперь божественным только в глазах избранников, был тогда таковым для всякого, кто обращал к нему свой открытый взор. Человек стоял тогда нагой перед ним, лицом к лицу. «Все было божественно или Бог» – Жан Поль⁴ находит, что мир таков. Гигант Жан Поль, имевший достаточно сил, чтобы не поддаться ходячим фразам; но тогда не было ходячих фраз. Канопус⁵, сияющий в высоте над пустыней синим алмазным блеском, этим диким синим, как бы одухотворенным блеском, гораздо более ярким, чем тот, какой мы знаем в наших странах. Он проникал в самое сердце дикого измаильянина, служил путеводной звездой в безбрежной пустыне. Его дикому сердцу, вмещавшему в себя все чувства, но не знавшему еще ни одного слова для выражения их, этот Канопус должен был казаться маленьким глазом, глядящим из глубины самой вечности и открывающим внутренний блеск. Разве мы не можем понять, каким образом эти люди почитали Канопус, как они стали так называемыми сабеитами, почитателями звезд? Такова, по моему мнению, тайна всякого рода языческих религий. Поклонение есть высшая степень удивления; удивление, не знающее никаких границ и никакой меры, и есть поклонение. Для первобытных людей все предметы и каждый предмет, существующий рядом с ними, представлялся эмблемой божественного, эмблемой какого-то Бога.

И обратите внимание, какая не прерывающаяся никогда нить истины проходит здесь. Разве божество не говорит также и нашему уму в каждой звезде, в каждой былинке, если только мы откроем свои глаза и свою душу? Наше почитание не имеет теперь такого характера. Но не считается разве до сих пор особым даром, признаком того, что мы называем «поэтической натурой», способность видеть в каждом предмете его божественную красоту, видеть, насколько каждый предмет действительно представляет до сих пор «окно, через которое мы можем заглянуть в самую бесконечность»? Человека, способного в каждом предмете подмечать то, что заслуживает любви, мы называем поэтом, художником, гением, человеком одаренным, любвеобильным. Эти бедные сабеиты делали на свой лад то же, что делает и такой великий человек. Каким бы образом они ни делали это, во всяком случае, уже одно то, что они делали, говорит в их пользу. Они стояли выше, чем совершенно глупый человек, чем лошадь или верблюд, именно ни о чем подобном не помышляющие!

Но теперь, если все, на что бы мы ни обратили свой взор, является для нас эмблемой Всевышнего Бога, то, прибавлю я, в еще большей мере, чем всякая внешняя вещь, представляет подобную эмблему сам человек. Вы слышали известные слова святого Иоанна Златоуста, сказанные им относительно шекинаха, или скинии завета, видимого откровения Бога, данного

евреям: «Истинное шехина есть человек!»⁶ Да, именно так: это вовсе не пустая фраза, это действительно так. Суть нашего существа, то таинственное, что называет само себя *я* – увы, какими словами располагаем мы для обозначения всего этого, – есть дыхание неба. Высочайшее существо открывает самого себя в человеке. Это тело, эти способности, эта жизнь наша – разве не составляет все это как бы внешнего покрова сущности, не имеющей имени? «Существует один только храм во вселенной, – с благоговением говорит Новалис⁷, – и этот храм есть тело человека. Нет святости больше этой возвышенной формы. Наклонять голову перед людьми – значит воздавать должное почтение этому откровению во плоти. Мы касаемся неба, когда возлагаем руку свою на тело человека!» От всего этого сильно отдает как бы пустой риторикой, но в действительности это далеко не риторика. Если хорошо задуматься, то окажется, что мы имеем дело с научным фактом, что это – действительная истина, высказанная теми словами, какими мы можем располагать. Мы чудо из чудес, великая, неисповедимая тайна Бога. Мы не можем понять ее; не знаем, как говорить о ней. Но мы можем чувствовать и знать, что это именно так.

Несомненно, что эту истину чувствовали некогда более живо, чем теперь. Ранние поколения человечества сохраняли в себе свежесть юноши. Вместе с тем они отличались глубиной серьезного человека, не думающие, что они покончили уже со всем небесным и земным, давши всему научные названия, но глядевшие прямо на мир Божий с благоговением и удивлением, – чувствовали сильнее, что есть божественного в человеке и природе. Они могли, не будучи сумасшедшими, почитать природу, человека и последнего более чем что-либо другое в этой природе. Почитать – это, как я сказал выше, значит безгранично удивляться, и они могли делать это со всею полнотою своих способностей, со всею искренностью своего сердца. Я считаю почитание героев великим отличительным признаком в системах древней мысли. То, что я называю густо переплетшейся чащей язычества, выросло из многих корней. Всякое удивление, всякое поклонение какой-либо звезде или какому-либо предмету составляло корень или одну из нитей корня, но почитание героев – самый глубокий корень из всех, главный, стержневой корень, который в значительнейшей мере питает и растит все остальное.

И теперь если даже почитание звезды имело свое известное значение, то насколько же большее значение могло иметь почитание героя! Почитание героя – есть трансцендентное удивление перед великим человеком. Я говорю, что великие люди – удивительные люди до сих пор; я говорю, что, в сущности, нет ничего другого удивительного! В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, кто выше его. И в настоящий момент, как и вообще во все моменты, оно производит оживотворяющее влияние на жизнь человека. Религия, утверждаю я, держится на нем; не только языческая, но и гораздо более высокие и более истинные религии, все религии, известные до сих пор. Почитание героя, удивление, исходящее из самого сердца и повергающее человека ниц, горячая, беспредельная покорность перед идеально-благородным, богоподобным человеком – не таково ли именно зерно самого христианства? Величайший из всех героев есть Тот, Которого мы не станем называть здесь! Размышляйте об этой святине в святом безмолвии. Вы найдете, что она есть последнее воплощение принципа, проходящего «красною нитью» через всю земную историю человека.

Или, обращаясь к низшим, менее невыразимым явлениям, не видим ли мы, что всякая лояльность (верность, преданность) также родственна религиозной вере? Вера есть лояльность по отношению к какому-либо вдохновенному учителю, возвышенному герою. И что такое, следовательно, самая лояльность, это дыхание жизни всякого общества, как не следствие почитания героев, как не покорное удивление перед истинным величием? Общество основано на почитании героев.

Всякого рода звания и ранги, на которых покоится человеческое единение, представляют собою то, что мы могли бы назвать героархией (правлением героев) или иерархией, так как эта героархия заключает в себе достаточно также и «святого»! Duke («герцог») означает

Дух, «предводитель»; Kцппing, Canning – «человек, который знает или может»⁸. Всякое общество есть выражение почитания героев в их постепенной градации, и нельзя сказать, чтобы эта постепенность была совершенно не соответствующей действительности, есть почтение и повиновение, оказываемые людям действительно великим и мудрым.

Постепенность, повторяю я, нельзя сказать чтобы совершенно не соответствующая действительности! Все они, эти общественные сановники, точно банковские билеты, представляют золото, но, увы, среди них всегда находится немало поддельных билетов. Мы можем производить свои операции при некотором количестве поддельных, фальшивых денежных знаков, даже при значительном количестве их; но это становится решительно невозможным, когда они все поддельные или когда большая часть их такова! Нет, тогда должна наступить революция, тогда поднимаются крики демократии, провозглашаются свобода и равенство, и я не знаю еще что. Тогда все билеты считаются фальшивыми; их нельзя обменять на золото, и народ в отчаянии начинает кричать, что золота вовсе нет и никогда не было! «Золото», почитание героев, тем не менее существует, как оно существовало всегда и повсюду, и оно не может исчезнуть, пока существует человек.

Я хорошо знаю, что в настоящее время почитание героев признается уже культом отжившим, окончательно прекратившим свое существование. Наш век по причинам, которые составят некогда достойный предмет исследования, есть век отрицающий, так сказать, самое существование великих людей, самую желательность их. Покажите нашим критикам великого человека, например Лютера⁹, и они начнут с так называемого ими «объяснения». Они не преклонятся перед ним, а примутся измерять его и найдут, что он принадлежит к людям мелкой породы! Он был «продуктом своего времени», скажут они. Время вызвало его, время сделало все, он же не сделал ничего такого, чего бы мы, маленькие критики, не могли также сделать! Жалкий труд, по моему мнению, представляет такая критика. Время вызвало? Увы, мы знали времена, довольно громко призывавшие своего великого человека, но не обретавшие его! Его не оказывалось налицо. Провидение не посылало его. Время, призывавшее его из всех сил, должно было погрузиться в забвение, так как он не пришел, когда его звали.

Ибо если мы хорошенько подумаем, то убедимся, что никакому времени не угрожала бы гибель, если бы оно могло найти достаточно великого человека. Мудрого, чтобы верно определить потребности времени; отважного, чтобы повести его прямой дорогой к цели; в этом – спасение всякого времени. Но я сравниваю пошлые и безжизненные времена с их безверием, бедствиями, замешательствами, сомневающимся и нерешительным характером, затруднительными обстоятельствами. Времена, беспомощно разменивающиеся на все худшие и худшие бедствия, приводящие их к окончательной гибели, – все это сравниваю я с сухим, мертвым лесом, ожидающим лишь молнии с неба, которая воспламенила бы его. Великий человек, с его свободной силой, исходящей прямо из рук Божиих, есть молния. Его слово – мудрое, спасительное слово; в него могут все поверить. Все воспламеняется тогда вокруг этого человека, раз он ударяет своим словом, и все пылает огнем, подобным его собственному. Думают, что его вызвали к существованию эти сухие, превращающиеся в прах ветви. Конечно, он был для них крайне необходим, но что касается до того, чтобы они вызвали!..

Критики, кричащие: «Глядите, разве это не дерево производит огонь!» – обнаруживают, думаю я, большую близорукость. Не может человек более печальным образом засвидетельствовать свое собственное ничтожество, как выказывая неверие в великого человека. Нет более печального симптома для людей известного поколения, чем подобная всеобщая слепота к духовной молнии, с одной верой лишь в кучу сухих безжизненных ветвей. Это – последнее слово неверия. Во всякую эпоху мировой истории мы всегда найдем великого человека, являющегося необходимым спасителем своего времени, молнией, без которой ветви никогда не загорелись бы. История мира, как уже я говорил, это – биография великих людей.

Наши маленькие критики делают все от них зависящее для того, чтобы двигать вперед безверие и парализовать всеобщую духовную деятельность. Но к счастью, они не всегда могут вполне успевать в своем деле. Во всякие времена человек может подняться достаточно высоко, чтобы почувствовать, что они и их доктрины – химеры и паутины. И что особенно замечательно, никогда, ни в какие времена они не могли всецело искоренить из сердец живых людей известного, совершенно исключительного почитания великих людей: неподдельного удивления, обожания, – каким бы затемненным и извращенным оно ни представлялось.

Почитание героев будет существовать вечно, пока будет существовать человек. Босуэлл даже в XVIII веке почитает искренне своего Джонсона¹⁰. Неверующие французы верят в своего Вольтера, и почитание героя проявляется у них крайне любопытным образом в последний момент его жизни, когда они «закидали его розами»¹¹. Этот эпизод в жизни Вольтера всегда казался мне чрезвычайно интересным. Действительно, если христианство являет собою высочайший образец почитания героев, то здесь, в вольтерьянстве, мы находим один из наиболее низких! Тот, чья жизнь была в некотором роде жизнью антихриста, и в этом отношении представляет любопытный контраст. Никакой народ никогда не был так мало склонен удивляться перед чем бы то ни было, как французы времен Вольтера. Пересмеивание составляло характерную особенность всего их душевного склада; обожанию не было здесь ни малейшего местечка.

Однако посмотрите! Фернейский старец приезжает в Париж, пошатывающийся, дряхлый человек восьмидесяти четырех лет. Он чувствует, что он также герой в своем роде, что он всю свою жизнь боролся с заблуждением и несправедливостью, освобождал Каласов¹², разоблачал высокопоставленных лицемеров, короче, тоже сражался (хотя и странным образом), как подобает отважному человеку. Они понимают также, что если пересмеивание – великое дело, то никогда не было такого пересмешиника. В нем они видят свой собственный воплощенный идеал. Он – то, к чему все они стремятся; типичнейший француз из всех французов. Он, собственно, их бог, тот бог, в какого они могут веровать. Разве все они действительно не почитают его, начиная с королевы Антуанетты до таможенного досмотрщика в порту Сен-Дени? Благородные особы передеваются в трактирных слуг. Почтосодержатель с грубой бранью приказывает ямщику: «Погоняй хорошенько, ты везешь господина Вольтера». В Париже его карета составляет «ядро кометы, хвост которой наполняет все улицы». Дамы выдергивают из его шубы по нескольку волосков, чтобы сохранить их как святые реликвии. Во всей Франции все самое возвышенное, прекрасное, благородное сознавало, что этот человек был еще выше, еще прекраснее, еще благороднее.

Да, от скандинавского Одина¹³ до английского Сэмюэла Джонсона, от божественного основателя христианства до высохшего первосвященника энциклопедизма во все времена и во всех местах героям всегда поклонялись. И так будет вечно. Мы все любим великих людей: любим, почитаем их и покорно преклоняемся перед ними. И можем ли мы честно преклоняться перед чем-либо другим? О! Разве не чувствует всякий правдивый человек, как он сам становится выше, воздавая должное уважение тому, что действительно выше его? В сердце человека нет чувства более благородного, более благословенного, чем это. Мысль, что никакая разъеденная скептицизмом логика, никакая всеобщая пошлость, неискренность, черствость какого бы то ни было времени с его веяниями не могут разрушить той благородной прирожденной преданности, того почитания, какое присуще человеку, – мысль эта доставляет мне громадное утешение.

В эпохи неверия, которые скоро и неизбежно превращаются в эпохи революций, многое, как это всякий легко может заметить, претерпевает крушение, стремится к печальному упадку и разрушению. Что же касается моего мнения относительно переживаемого нами времени, то в этой несокрушимости культа героев я склонен видеть тот вечный алмаз, дальше которого не может пойти беспорядочное разрушение, обнаруживаемое революционным ходом вещей. Бес-

порядочное разрушение вещей, распадающихся на мелкие части, обрушивающихся с треском и опрокидывающихся вокруг нас в наши революционные годы, будет продолжаться именно до этого момента, но не дольше. Это – вечный краеугольный камень, на котором снова будет воздвигнуто здание. В том, что человек, так или иначе, поклоняется героям, что все мы почитаем и обязательно будем всегда почитать великих людей, я вижу живую скалу среди всевозможных крушений, единственно устойчивую точку в современной революционной истории, которая иначе представлялась бы бездонной и безбрежной.

Такова истина, которую я нахожу в язычестве древних народов. Она только прикрыта старым, поношенным одеянием, но дух ее все же истинен. Природа до сих пор остается божественной, она до сих пор – откровение трудов Божиих; герой до сих пор почитается. Но именно это же самое – правда, в формах еще только зарождающихся, бедных, связанных – стараются, как могут, выдвинуть и все языческие религии.

Я думаю, что скандинавское язычество представляет для нас в данном случае больший интерес, чем всякая другая форма язычества. Прежде всего оно принадлежит позднему времени. Оно продержалось в северных областях Европы до конца XI столетия; восемьсот лет тому назад норвежцы были еще поклонниками Одина. Затем оно интересно как верование наших отцов, тех, чья кровь течет еще в наших жилах, и на кого мы, без сомнения, еще до сих пор так сильно походим. Странно, они действительно верили в это, тогда как мы верим в нечто совершенно иное. Остановимся же несколько, ввиду многих причин, на бедном древнескандинавском веровании. Мы располагаем достаточными данными, чтобы сделать это, так как скандинавская мифология сохранилась довольно хорошо, что еще более увеличивает интерес к ней.

На этом удивительном острове Исландия, приподнятом, как говорят геологи, со дна моря благодаря действию огня; в дикой стране бесплодия и лавы, ежегодно поглощаемой в течение многих месяцев грозными бурями, а в летнюю пору блестящей своей дикой красотой; сурово и неприступно поднимающимся здесь, в Северном океане, со своими снежными вершинами, шумящими гейзерами, серными озерами и страшными вулканическими безднами, подобно хаотическому, опустошенному полю битвы между огнем и льдом, – здесь-то, говорю я, где менее, чем во всяком другом месте, стали бы искать литературных или вообще письменных памятников, было записано воспоминание о делах давно минувших. Вдоль морского берега этой дикой страны тянется луговая полоса земли, где может пастись скот, а благодаря ему и добыче, извлекаемой из моря, могут существовать люди. Люди эти отличались, по-видимому, поэтическим чувством. Им были доступны глубокие мысли, и они умели музыкально выражать их. Многого не существовало, если бы море не выдвинуло из своей глубины этой Исландии, если бы она не была открыта древними скандинавами! Многие из древних скандинавских поэтов были уроженцами Исландии.

Семунд, один из первых христианских священников на этом острове, питавший, быть может, несколько запоздалые симпатии к язычеству, собрал некоторые из местных старинных языческих песен, уже начинавших выходить из употребления в то время, – именно поэмы или песни мифического, пророческого, главным же образом религиозного содержания, называемые древнескандинавскими критиками «Старшей (Песенной) Эддой». Этимология слова «Эдда» неизвестна. Думают, что оно означает «предки». Затем Снорри Стурлусон, личность в высшей степени замечательная, исландский дворянин, воспитанный внуком этого самого Семунда, задумал, почти столетие спустя, в числе других своих работ, составить нечто вроде прозаического обзора всей мифологии и осветить ее новыми отрывками из сохранившихся по традиции стихов. Работу эту он выполнил с замечательным умением и прирожденным талантом, с тем, что называют иные бессознательным искусством. Получился труд совершенно ясный и понятный, который приятно читать даже в настоящее время. Это – «Младшая Эдда» (прозаическая).

Благодаря этим произведениям, а также многочисленным сагам, в большинстве случаев исландского происхождения, и пользуясь исландскими и неисландскими комментариями, каковыми до сих пор ревностно занимаются на Севере, мы можем даже теперь познакомиться непосредственно с предметом, стать, так сказать, лицом к лицу с системой древнескандинавского верования. Забудем, что это было ошибочное верование. Отнесемся к нему как к старинной мысли и посмотрим, нет ли в ней чего-либо такого, чему мы могли бы симпатизировать в настоящее время.

Главную отличительную черту этой древнескандинавской мифологии я вижу в олицетворении видимых явлений природы. Серьезное, чистосердечное признание явлений физической природы как дела всецело чудесного, изумительного и божественного. То, что мы изучаем теперь как предмет нашего знания, вызывало у древних скандинавов удивление, и они, пораженные благоговейным ужасом, поворачивались перед ним ниц, как перед предметом своей религии. Темные, неприязненные силы природы они представляли себе в образе «ётунов», гигантов, громадных косматых существ с демоническим характером. Мороз, огонь, морская буря – это ётуны. Добрые же силы, как летнее тепло, солнце, это – боги. Власть над вселенной разделяется между теми и другими. Они живут отдельно и находятся в вечной смертельной междоусобице. Боги живут вверху, в Асгарде, в саду асов, или божеств. Жилищем же ётунов служит Ётунхейм¹⁴ – отдаленная, мрачная страна, где царит хаос.

Странно все это, но не бессодержательно, не бессмысленно, если только мы пристальнее всмотримся в самую суть! Например, сила огня или пламени, которую мы обозначаем каким-нибудь избитым химическим термином, скрывающим от нас самих лишь действительный характер чуда, сказывающегося в этом явлении, как и во всех других, для древних скандинавов представляет Локи¹⁵, самый быстрый, вкрадчивый демон из семьи ётунов.

Дикари Марианских островов (рассказывают испанские путешественники) считали огонь, до тех пор ими никогда не виданный, также дьяволом или богом, живущим в сухом дереве и жестоко кусающимся, если прикоснуться к нему. Но никакая химия, если только ее не будет поддерживать тупоумие, не может скрыть и от нас того, что пламя есть чудо. Действительно, что такое пламя?.. Мороз (древний скандинавский ясновидец) считается чудовищным, седовласым ётуном, исполином Трюмом, Хрюмом или Римом. Это старинное слово теперь почти совсем вышло из употребления в Англии, но его до сих пор употребляют в Шотландии для обозначения инея¹⁶. Рим был тогда не мертвым химическим соединением, как теперь, а живым ётуном или демоном. Чудовищный ётун Рим пригонял своих лошадей на ночь домой и принимался «расчесывать им гривы». Этими лошадьми были градовые тучи или быстрые морозные ветры. Ледяные глыбы – не его коровы или быки, а родственника, исполина Имира. Этому Имиру стоило только «взглянуть на скалы» своим дьявольским глазом, и они раскалывались от его блеска.

Гром не считали тогда только электричеством, проистекающим из стекла или смолы; это был бог Донар¹⁷ («гром»), или Тор; он же бог и благодетельного летнего тепла. Гром – это его гнев. Нагромождающиеся черные тучи – нахмуренные грозные брови Тора. Огненная стрела, раздирающая небо, – всесокрушающий молот, опускаемый рукою Тора. Он мчится на своей гулкой колеснице по вершинам гор – раскаты грома. Гневно «дует он в свою красную бороду» – шелест и порывы ветра, перед тем как начинает греметь гром.

Напротив, Бальдр¹⁸ – белый бог, прекрасный, справедливый и благодетельный (первые христианские миссионеры находили его похожим на Христа) – солнце, прекраснейшее из всех видимых предметов. Оно остается и для нас все так же чудесно, все так же божественно, несмотря на все наши астрономии и календари!

Но быть может, самым замечательным из всех богов, рассказы о которых мы слышали, является тот бог, следы которого были открыты немецким этимологом Гриммом, – бог Wünsch,

или Wish («желание»). Бог Уиш может дать нам все, чего бы только мы ни пожелали (wished)! Не слышится ли в этом крайне искренний, хотя и крайне грубый голос человеческой души? Самый грубый идеал, какой только человек когда-либо создавал себе? Идеал, еще дающий себя чувствовать и в новейших формах нашей духовной культуры? Более возвышенные размышления должны показать нам, что бог Уиш не есть истинный бог.

О других богах или ётунах я упомяну лишь ради их этимологического интереса. Морская буря – это весьма опасный ётун Эгир. И в наше время на реке Трент, как мне пришлось слышать, ноттингемские лодочники называют известный подъем в реке (нечто вроде обратного течения, образующего водовороты, весьма опасные для них) Игером (Eager). Они кричат: «Будьте осторожны, Игер идет!» Странно, это сохранившееся до сих пор слово является как бы пиком, поднимающимся из некоего потопленного мира!

Ноттингемские лодочники древнейших времен верили в бога Эгира! И действительно, наша английская кровь в значительной степени та же датская, скандинавская кровь. Вернее сказать, датчанин, скандинав, саксонец имеют, в сущности, лишь внешние, поверхностные различия: один – язычник, другой – христианин и т. п.

На всем пространстве острова мы, собственно, в особенности сильно перемешаны с датчанами. Это объясняется их беспрестанными набегами, и притом в большой пропорции, естественно, вдоль восточного берега, и больше всего, как я нахожу, на северной окраине. Начиная от реки Хамбер вверх во всей Шотландии говор простого народа до сих пор поразительно напоминает исландский говор; его германизм имеет особую скандинавскую окраску. Они также – «норманны», если в этом кто-либо может находить особую прелесть!

О главном божестве, Одине, мы будем говорить дальше. Теперь же заметим следующее: главную суть скандинавского и в действительности всякого другого язычества составляет признание сил природы как деятелей олицетворенных, необычайных, божественных, как богов и демонов. Нельзя сказать, чтобы это было непостижимо для нас. Это детская мысль человека, раскрывающаяся сама собой, с удивлением и ужасом, перед вечно изумительной вселенной. В древнескандинавской системе мысли я вижу нечто чрезвычайно искреннее, чрезвычайно большое и мужественное. Совершенная простота, грубость, столь непохожая на легкую грациозность древнегреческого язычества, составляют отличительную особенность этой скандинавской системы. Она – мысль; искренняя мысль глубоких, грубых, серьезных умов, глядящих открыто на окружающие их предметы. Подходить ко всем явлениям лицом к лицу, сердцем к сердцу составляет первую характерную черту всякой хорошей мысли во все времена.

Не грациозная легкость, полузабава, как в греческом язычестве, а известная простоватая правдивость, безыскусственная сила, громадная, грубая искренность открываются здесь перед нами. Странное испытываешь чувство, переходя от наших прекрасных статуй Аполлона и веселых, смеющихся мифов к древнескандинавским богам, «варящим пиво», чтобы пировать вместе с Эгиром, ётуном моря, посылающим Тора добыть котелок в стране ётунов. Тор после многочисленных приключений нахлобучивает котелок себе на голову наподобие огромной шляпы и, исчезая в нем совершенно, так что ушки котелка касаются его плеч, возвращается назад! Какая-то пустынная громадность, широкое, неуклюжее исполинство характеризуют эту скандинавскую систему; чрезмерная сила, совершенно еще невежественная, шагающая самостоятельно, без всякой чужой поддержки своими огромными, неверными шагами.

Обратите внимание хотя бы только на этот первоначальный миф о творении. Боги, овладев убитым гигантом Имиром, гигантом, родившимся из «теплых ветров» и различных веществ, происшедших от борьбы мороза и огня, решили создать из него мир. Его кровь стала морем, мясо – землей, кости – скалами. Из его бровей они сделали Асгард – жилище богов. Череп его превратился в голубой свод величественной беспредельности, а мозг – в облака. Какое гипербробдинггеское¹⁹ дело! Мысль необузданная, громадная, исполинская, чудовищная; в свое время она будет укрощена и станет сосредоточенным величием, не исполинопо-

добным, но богоподобным, более могучим, чем исполины, величие Шекспиров и Гете! Эти люди такие же наши прародители в духовном отношении, как и в телесном.

Мне нравится также их представление о дереве Иггдрасиль²⁰. Всю совокупность жизни они представляли себе в виде дерева. Иггдрасиль, ясень, древо жизни, глубоко прорастает своими корнями в царство Хели, или смерти²¹. Вершина его ствола достигает высокого неба; ветви распространяются над всей вселенной; таково древо жизни. У корней его, в царстве смерти, восседают три норны, судьбы, – прошедшее, настоящее и будущее, – они орошают корни дерева водою из священного источника. Его «ветви» с распускающимися почками и опадающими листьями – события, дела выстраданные, дела содеянные, катастрофы – распространяются над всеми странами и на все времена. Не представляет ли каждый листик его отдельной биографии, каждое волоконце – поступка или слова? Его ветви – это история народов. Шелест, производимый листьями, – шум человеческого существования, все более возрастающий, начиная с древних времен. Оно растет. Дыхание человеческой страсти слышится в его шелесте; или же бурный ветер, потрясая его, завывает, подобно голосу всех богов. Таков Иггдрасиль, древо жизни. Оно – прошедшее, настоящее и будущее; то, что сделано, что делается, что будет делаться, – «бесконечное спряжение глагола “делать”».

Вдумываясь в то, какой круговорот совершают человеческие дела, как безысходно перепутывается каждое из них со всеми другими, как слово, сказанное мною сегодня вам, вы можете встретить не только у Ульфилы Готского²², но в речах всех людей, с тех пор как заговорил первый человек, я не нахожу сравнения более подходящего для данного случая, чем это дерево. Прекрасная аналогия; прекрасная и величественная. «Механизм вселенной» – увь, думайте о нем лишь контраста ради!

Итак, довольно странным кажется это древнескандинавское воззрение на природу. Довольно значительно отличается оно от того, какого придерживаемся мы. Каким же образом оно сложилось? На это не любят отвечать особенно точно! Одно мы можем сказать: оно возникло в головах скандинавов; в голове прежде всего первого скандинава, который отличался оригинальной силой мышления; первого скандинавского «гениального человека», как нам следует его называть! Бесчисленное множество людей прошло, совершая свой путь во вселенной со смутным, неммым удивлением, какое могут испытывать даже животные, или же с мучительным, бесплодно вопрошающим удивлением, какое чувствуют только люди, пока не появился великий мыслитель, самобытный человек, прорицатель.

Оформленная и высказанная мысль пробудила дремавшие способности всех людей и вызвала у них также мысль. Таков всегда образ воздействия мыслителя, духовного героя. Все люди были недалеко от того, чтобы сказать то, что сказал он; все желали сказать это. У всякого пробуждается мысль как бы от мучительного заколдованного сна и стремится к его мысли и отвечает ей: да, именно так! Великая радость для людей, точно наступление дня после ночи. Не есть ли это для них действительно пробуждение от небытия к бытию, от смерти к жизни? Такого человека мы до сих пор чтим, называем его поэтом, гением и т. п.; но для диких людей он был настоящим магом, творцом неслыханного, чудесного блага, пророком, богом! Раз пробудившись, мысль уже не засыпает более, она развивается в известную систему мыслей, растет от человека к человеку, от поколения к поколению, пока не достигает своего полного развития, после чего эта система мысли не может расти более и должна уступить место другой.

Для древнескандинавского народа таким человеком, как мы представляем это себе, был человек, называемый теперь Одином. Он – главный скандинавский бог; учитель и вождь души и тела; герой с заслугами неизмеримыми, удивление перед которым, перейдя все известные границы, превратилось в обожание. Разве он не обладает способностью отчеканивать свою мысль и многими другими, до сих пор еще вызывающими удивление способностями? Так именно, с беспредельною благодарностью должно было чувствовать грубое скандинавское

сердце. Разве не разрешает он для них загадку сфинкса этой вселенной, не внушает им уверенности собственной судьбы здесь, на земле? Благодаря ему они знают теперь, что должны делать здесь и чего должны ожидать впоследствии. Благодаря ему существование их стало явственным, мелодичным, он первый сделал их жизнь живою!

Мы можем называть этого Одина, прародителя скандинавской мифологии, Одним или каким-либо другим именем, которое носил первый скандинавский мыслитель, пока он был человеком среди людей. Высказывая свое воззрение на вселенную, он тем самым вызывает подобное же воззрение в умах всех. Оно растет, постоянно развиваясь, и его придерживаются до тех пор, пока считают достойным веры. Оно начертано в умах всех, но невидимо, как бы симпатическими чернилами, и при его слове проявляется с полной ясностью. Не составляет ли во всякую мировую эпоху пришествие в мир мыслителя великого события, порождающего все прочее?

Мы не должны забывать еще одного обстоятельства, объясняющего отчасти путаницу скандинавских «Эдд». Они составляют, собственно, не одну связную систему мысли, а наложение нескольких последовательных систем. Все это древнескандинавское верование, по времени своего происхождения, представляется нам в «Эдде» как бы картиной, нарисованной на одном и том же полотнище; но в действительности это вовсе не так. Здесь мы имеем дело, скорее, с целым рядом картин, находящихся на всевозможных расстояниях, помещенных в разных глубинах, соответственно последовательному ряду поколений, пришедших с тех пор, как верование впервые было возведено.

Каждый скандинавский мыслитель, начиная с первого, внес свою долю в эту скандинавскую систему мысли. Постоянно перерабатываемая и осложняемая новыми прибавлениями, она представляет в настоящее время их соединенный труд. Никто и никогда не узнает теперь, какова была ее история, какие изменения претерпевала она, переходя от одной формы к другой, благодаря вкладам разных мыслителей, следовавших один за другим, пока не достигла своей окончательно полной формы, какую мы видим в «Эдде». Эти соборы в Трапезунде, Триенте, эти Афанасии, Данте, Лютеры – все они погрузились в непробудный мрак ночи, не оставив по себе никакого следа! И все знание наше в данном случае должно ограничиться только тем, что система эта имела подобную историю.

Всякий мыслитель, где бы и когда бы он ни появился, вносит в сферу, куда направляется его мысль, известный вклад, новое приобретение, производит перемену, революцию. Увы, не погибла ли для нас и эта величественнейшая из всех революций, «революция», произведенная самим Одним, как погибло все остальное! Какова история Одина? Как-то странно даже говорить, что он имел историю. Этот Один в своем диком скандинавском одеянии, со своими дикими глазами и бородой, грубою скандинавскою речью и обращением, был такой же человек, как и мы. У него были те же печали и радости, что и у нас; те же члены, те же черты лица – одним словом, что, в сущности, это был абсолютно такой же человек, как и мы; и он совершил такое громадное дело! Но дело, большая часть дела, погибло, а от самого творца осталось только имя. Wednesday («среда»), скажут люди потом, то есть день Одина!

Об Одине история не знает ничего. Относительно него не сохранилось ни одного документа, ни малейшего намека, стоящего того, чтобы о нем говорить.

Положим, Снорри самым невозмутимым, почти деловым тоном рассказывает в своей «Хеймскрингле»²³, как Один, героический князь, княживший в местности близ Черного моря, с двенадцатью витязями и многочисленным народом был стеснен в своих границах. Затем, как он вывел этих асов (азиатов) из Азии и после доблестной победы остался жить в северной части Европы. После он изобрел письмена, поэзию и т. п. и мало-помалу стал почитаться скандинавами как главное божество, а двенадцать витязей превратились в двенадцать его сыновей, таких же богов, как и он сам. Снорри нисколько не сомневается во всем этом.

Саксон Грамматик, весьма замечательный норманн того же века, обнаруживает еще меньше сомнений. Он, не колеблясь, признает во всяком отдельном мифе исторический факт и передает его как земное происшествие, имевшее место в Дании или где-либо в другом месте. Торфеус, осторожный ученый, живший несколько столетий спустя, вычисляет даже соответствующие даты. Один, говорит он, пришел в Европу около 70 года до Р.Х.

Но обо всех подобных утверждениях я не стану ничего говорить здесь. Они построены на одних только недостоверностях, и потому их невозможно поддерживать в настоящее время. Раньше, много раньше, чем в 70 году! Появление Одина, его отважные похождения, вся его земная история, вообще его личность и среда, окружавшая его, поглощены навеки для нас неведомыми тысячелетиями.

Мало того, немецкий археолог Гримм²⁴ отрицает даже, чтобы существовал когда бы то ни было какой-то человек Один. Свое мнение он доказывает этимологически. Слово «Вотан», представляющее первоначальную форму слова «Один», встречается часто у всех народов тевтонского племени как название главного божества. Оно имеет, по Гримму, общее происхождение с латинским словом *vadere*, английским *wade* и т. п. Оно означает первоначально *movement* («движение»), источник движения, силу и является вполне подходящим словом для наименования величайшего бога, а не человека. Слово это, говорит он, означает «божество» у саксов, германцев и всех тевтонских народов; все прилагательные, произведенные от него, означают «божественный», «верховный» или вообще нечто, свойственное главному божеству. Довольно правдоподобно!

Мы должны преклониться перед авторитетом Гримма, перед его этимологическими познаниями. Будем считать вполне решенным, что Вотан означает силу движения. Но затем спросим, почему же это слово не может служить также названием героического человека и двигателя, как оно служит названием божества? Что же касается прилагательных и слов, произведенных от него, то возьмем, например, испанцев. Разве они, под влиянием своего всеобщего удивления перед Лопе, не выражались так: «Лопе-цветок», «Лопе-дама», в тех случаях, когда цветок или женщина поражали их своею необычайной красотой? Затем, если бы подобная привычка просуществовала долгое время, то слово «Лопе» превратилось бы в Испании в прилагательное, означающее также «божественный». Действительно, Адам Смит в своем «Опыте о языке»²⁵ высказывает предположение, что все прилагательные произошли именно таким образом. Какой-либо предмет, ярко выделяющийся своей зеленой окраской, получает значение нарицательного имени «зеленое», и тогда уже всякий предмет, отличающийся таким же признаком, например дерево, называется «зеленым деревом». Подобно как мы до сих пор еще говорим: *the steam coach* («паровоз»; буквально – «какета, движимая паром») и *four-horse coach* («какета, запряженная четверкой») и т. д.

Все коренные прилагательные, по Смиту, образовались именно таким образом: сначала они были существительными и служили наименованием предметов. Но не можем же мы позабыть человека из-за подобных этимологических выкладок. Конечно, существовал первый учитель и вождь. Конечно, должен был существовать в известную эпоху Один, осязаемый, доступный человеческим чувствам, не как прилагательное, а как реальный герой с плотью и кровью! Голос всякой традиции, история или эхо истории, подтверждая все то, к чему приходим мы теоретически, убеждают нас окончательно в справедливости этого.

Каким образом человека Одина стали считать богом, главным божеством, это, конечно, вопрос, о котором никто не взялся бы говорить в догматическом тоне. Его народ, как я сказал, не знал никаких границ в своем удивлении перед ним; он не знал в ту пору еще никакого мерил, чтобы измерить свое удивление. Представьте себе, ваша собственная благородная, сердечная любовь к кому-либо из величайших людей настолько разрастается, что переходит всякие границы, наполняет и затопляет все поле вашей мысли! Или вообразите, этот самый человек Один, так как всякая великая, глубокая душа с ее вдохновением, таинственными при-

ливами и отливами предвидения и внушений, нисходящих на нее неизвестно откуда, представляет всегда загадку, в некотором роде ужас и изумление для самой себя, почувствовал, быть может, что он носит в себе божество, что он – некоторая эманация Вотана, «движения», высшей силы и божества, прообразом которого выступала для его восхищенного воображения вся природа, почувствовал, что некоторая эманация Вотана живет здесь, в нем! И нельзя сказать, чтобы ему неизбежно приходилось при этом лгать. Он просто лишь заблуждался, высказывая самое достоверное, что только было ему известно.

Всякая великая душа, всякая искренняя душа не знает, что она такое, и то возносится на высочайшую высоту, то ниспровергается в глубочайшую бездну. Менее всего другого человек может измерить самого себя! То, за что принимают его другие, и то, чем он кажется самому себе, по собственным догадкам, эти два заключения странным образом воздействуют одно на другое, определяются одно через другое. Все люди благоговейно удивляются ему. Его собственная дикая душа преисполнена благородного пыла и благородных стремлений; хаотического бурного мрака и славного нового света. Чудная вселенная блещет вокруг него во всей своей божественной красоте, и нет человека, с которым когда-либо происходило бы что-нибудь подобное, – что же он мог думать после всего этого о самом себе, кто он? Вотан? Все люди отвечали: «Вотан!»

А затем подумайте, что делает одно только время в подобных случаях, как человек, если он был велик при жизни, становится еще в десять раз более великим после своей смерти. Какую безмерно увеличивающую камеру-обскуру представляет традиция! Как всякая вещь увеличивается в человеческой памяти, воображении, когда любовь, поклонение и все, чем дарит человеческое сердце, оказывают тому свое содействие. И притом во тьме, полном невежестве, без всякой хронологии и документов, при совершенном отсутствии книги и мраморных надписей: лишь то там, то здесь несколько немых надгробных памятников. Но ведь там, где вовсе нет книг, великий человек лет через тридцать – сорок становится мифическим, так как все современники, знавшие его, вымирают. А через триста, а через три тысячи лет!..

Всякая попытка теоретизировать о подобных вопросах принесет мало пользы. Эти вопросы не укладываются в теоремы и диаграммы; логика должна знать, что она не может решить их. Удовлетворимся тем, если мы можем разглядеть в отдалении, самой крайней дали, некоторое мерцание как бы некоего незначительного реального светила, находящегося в центре этого громадного изображения камеры-обскуры. Если мы разглядим, что центр всей картины составляет вовсе не безумие или ничто, но здравый смысл и нечто.

Этот свет, возжженный в громадной, погруженной во тьму пучине скандинавской души, но в пучине живой, ожидающей только света. Этот свет, по моему мнению, представляет центр всего. Как затем он будет гореть и распространяться, какие примет формы и цвета, рассеиваясь удивительным образом на тысячу ладов, – это зависит не столько от него самого, сколько от народного духа, его воспринимающего. Цвет и форма света изменяются в зависимости от призм, через которую он проходит. Странно подумать, как самый достоверный факт в глазах разных людей принимает самые разнообразные формы сообразно природе человека!

Я сказал, серьезный человек, обращаясь к своим братьям-людям, неизбежно всегда утверждает то, что кажется ему фактом, реальным явлением природы. Но то, каким образом он понимает это явление или факт, то, какого именно рода фактом становится он для него, – изменилось и изменяется согласно его собственным законам мышления, глубоким, трудноуловимым, но вместе с тем всеобщим, вечно деятельным. Мир природы для всякого человека является фантазией о самом себе. Мир этот представляет многосложный «образ его собственной мечты». Кто скажет, благодаря каким невыразимым тонкостям спиритического закона все эти языческие басни получают ту или иную форму!

Число «двенадцать», наиболее делимое – его можно делить пополам, на четыре части, три, шесть, – самое замечательное число! Этого было достаточно, чтобы установить двенадцать

знаков зодиака, двенадцать сыновей Одина и бесчисленное множество других «двенадцать». Всякое неопределенное представление о числе имеет какую-то тенденцию к двенадцати. То же следует сказать относительно всякого другого предмета. И притом все это делается совершенно бессознательно, без малейшей мысли о каких бы то ни было «аллегориях»! Бодрый и ясный взгляд этих первых веков, должно быть, быстро проникал в тайну отношений вещей и вполне свободно подчинялся их власти.

Шиллер находит в «поясе Венеры»²⁶ возвышенную эстетическую правду относительно природы всего прекрасного. При этом интересно, он не старается дать понять, что древнегреческие мифологи имели какой-то умысел прочесть лекцию по «критической философии»!.. В конце концов мы должны покинуть эти беспредельные сферы. Неужели же мы не можем представить себе, что Один существовал в действительности? Правда, заблуждение было, не малое заблуждение, но настоящий обман, пустые басни, предумышленные аллегории, – нет, мы не поверим, чтобы наши отцы верили в них.

Руны Одина имеют большое значение для характеристики его личности. Руны и «магические» чудеса, которые он делал при помощи их, занимают выдающееся место в традиционном рассказе об Одине. Руны – это скандинавский алфавит. Предполагают, что Один был изобретателем письмен, равно как и магии для своего народа! Выразить незримую мысль, существующую в человеке, посредством написанных букв – это величайшее изобретение, какое только когда-либо сделал человек. Это в некотором роде вторая речь, почти такое же чудо, как и первая. Вспомните удивление и недоверие перуанского царя Атауальпы²⁷. Государство инков (Тауантинсуйу) занимало территорию современных Перу, Боливии, Эквадора, Северного Чили и Северо-Западной Аргентины и было завоевано испанцами в 1532–1536 годах. Атауальпа был казнен, хотя и уплатил завоевателям огромный установленный ими выкуп, когда он заставил караулившего его испанского солдата нацарапать на ногте своего большого пальца слово Dios²⁸, чтобы он мог затем, показав эту надпись следующему солдату, убедиться, действительно ли возможно подобное чудо. Если Один ввел среди своего народа письмена, то он способен был совершить волшебство.

Рунические письмена представляли, по-видимому, самобытное явление среди древних скандинавов. Это не финикийский алфавит, а оригинальный скандинавский. Снорри рассказывает далее, что Один создал также и поэзию, музыку человеческой речи, как он создал это удивительное руническое написание последней.

Перенеситесь мысленно в далекую, детскую эпоху жизни народов. Первое прекрасное солнечное утро нашей Европы, когда все еще покоится в свежем, раннем сиянии величественного рассвета, и Европа впервые начинает мыслить, существовать! Изумление, упование, бесконечное сияние упования и изумления, словно сияние мыслей юного ребенка, в сердцах этих мужественных людей! Мужественные сыны природы, – и среди них появляется человек, он не просто дикий вождь и борец, видящий своими дико сверкающими глазами, что надлежит делать, и своим диким, львиным сердцем дерзающий и делающий должное, но и поэт. Он воплощает в себе все, что мы понимаем под поэтом, пророком, искренним великим мыслителем и изобретателем и кем всегда бывает всякий истинно великий человек.

Герой является героем во всех отношениях – в своей душе и в своей мысли прежде всего. Этот Один знал, по-своему, грубо, полуотчетливо, что ему сказать. Великое сердце раскрылось, чтобы воспринять в себя великую вселенную и жизнь человеческую и сказать великое слово по этому поводу. Это – герой, говорю я, на свой собственный грубый образец, человек мудрый, одаренный, с благородным сердцем.

И теперь, если мы до сих пор удивляемся подобному человеку преимущественно перед всеми другими, то, как же должны были относиться к нему дикие скандинавские умы, у которых впервые пробудилась мысль! Для них (дотоле они не имели соответствующего слова) он

был благородный и благороднейший; герой, пророк, бог; Вотан, величайший из всех. Мысль остается мыслью, все равно, выговаривают ли ее по складам или связной речью. По существу, я допускаю, что этот Один, вероятно, был создан из той же материи, как и громадное большинство людей. В его диком, глубоком сердце – великая мысль! Не составляют ли грубые слова, членораздельно произнесенные им, первоначальных корней тех английских слов, которые мы употребляем до сих пор? Он работал, таким образом, в этой темной стихии. Но он являл собою свет, зажженный в ней; свет разума, грубое благородство сердца, единственный род света, какой мы знаем поныне. Он герой, как я представляю. Он должен был светить здесь и хоть как-то освещать свою темную стихию, что и до сих пор составляет нашу всеобщую задачу.

Мы представляем его себе в виде типичного скандинава, самого настоящего тевтона, какого только эта раса производила до сих пор. Грубые скандинавские сердца пылали к нему безграничным удивлением, обожанием. Он составляет как бы корень многочисленных великих деяний. Плоды, принесенные им, произрастают из глубины прошедших тысячелетий на всем поле тевтонской мысли. Наше слово «среда» (Wednesday), не означает ли оно до сих пор, как я уже заметил, дня Одина? Wednesday, Wansborough, Wanstead, Wandsworth, – Один, разрастаясь, проник также и в Англию, – все это лишь листья от того же корня! Он был главным божеством для всех тевтонских народов, их идеалом древнескандинавского мужа. Таким образом, они действительно выражали удивление перед своим скандинавским идеалом. Такова была его судьба в этом мире.

Итак, если Один-человек исчез совершенно, то осталась его громадная тень, до сих пор лежащая на всей истории его народа. Ибо раз этот Один был признан богом, то легко понять, что вся скандинавская система воззрений на природу или их туманная бессистемность, какова бы она ни была до тех пор, должна была начать развиваться с этого момента совершенно иначе и расти, следуя иным, новым путям. То, что узнал Один и чему он поучал своими рунами и рифмами, весь тевтонский народ принял к сердцу и продолжал двигать вперед. Его образ мыслей стал их образом мыслей. Такова и до сих пор, лишь складывающаяся при иных условиях, история всякого великого мыслителя. Самая эта скандинавская мифология, в своих неясных гигантских очертаниях похожая на громадное отражение камеры-обскуры, которое падает из мертвенных глубин прошедшего и покрывает собою всю северную часть небосклона, – не есть ли она в некотором роде отражение этого человека Одина? Гигантское отражение его настоящего облика, отчетливо или неотчетливо обрисованное здесь, но слишком расширенное и поэтому неясное! Да, мысль, говорю я, всегда остается мыслью. Нет великого человека, который жил бы напрасно. История мира есть лишь биографии великих людей.

Я нахожу что-то весьма трогательное в этом первобытном образе героизма, безыскусственности, беспомощности и вместе с тем глубочайшей сердечности, с какими люди относились тогда к герою. Никогда почитание не имело такого беспомощного, по внешнему виду, характера, но вместе с тем это было самое благородное чувство, в той или другой форме столь же неизменно существующее, как неизменно существует и сам человек. Если бы я мог показать, в какой бы то ни было мере, то, что я глубоко ощущаю уже с давних пор! А именно, что чувство это есть жизненный элемент человечества, душа человеческой истории в нашем мире, то я достиг бы главной цели своих настоящих бесед. Мы не называем теперь богами наших великих людей, мы не удивляемся перед ними безгранично; о нет, довольно-таки ограниченно! Но если бы мы не имели вовсе великих людей, если бы мы совершенно не удивлялись им, то было бы еще гораздо хуже.

Этот бедный скандинавский культ героев, все это древнескандинавское воззрение на природу, приспособление к ней имеют для нас непреходящую ценность. Детски-грубое понимание божественности природы, божественности человека; крайне грубое, но вместе с тем глубоко прочувствованное, мужественное, исполинское, предвещающее уже, в какого гиганта-человека вырастет это дитя! Понимание это было истиной, но теперь оно уже более не истина. Не пред-

ставляется ли оно вам как бы сдавленным, едва слышным голосом давно погребенных поколений наших собственных отцов, вызванных из вековых глубин пред лицо наше, тех, в чьих жилах все еще течет их кровь.

«Вот, – говорят они, – то, что мы думали о мире; представление, понятие, какое только мы могли составить себе об этой великой тайне жизни мира. Не относитесь презрительно к ним. Вы ушли далеко вперед от такого понимания, перед вами расстилаются более широкие и свободные горизонты, но вы также не достигли еще вершины. Да, ваше понимание, каким бы широким оно ни казалось, все еще частичное, несовершенное понимание. Дело идет о предмете, которого ни один человек никогда, ни во времени, ни вне времени, не поймет. Будут проходить все новые и новые тысячелетия, а человек будет снова и снова бороться за понимание лишь какой-либо новой частности. Этот предмет больше человека, он не может быть понят им, это – бесконечный предмет!»

Сущность скандинавской мифологии, как и всякой языческой мифологии вообще, заключается в признании божественности природы и в искреннем общении человека с таинственными невидимыми силами, обнаруживающимися в мировой работе, совершающейся вокруг него. И эта сторона, сказал бы я, в скандинавской мифологии выражается более искренне, чем во всякой другой из известных мне. Искренность представляет ее великое характерное отличие.

Более глубокая (значительно более глубокая) искренность примиряет нас с полным отсутствием в ней древнегреческой грации. Искренность, я думаю, лучше, чем грация. Я чувствую, что эти древние скандинавы смотрели на природу открытыми глазами и открытой душой. Крайне серьезные, честные, словно дети, но вместе с тем и словно мужи. С великой сердечной простотой, глубиной и свежестью, правдиво, любовно, бесстрашно восхищаясь. Поистине доблестная, правдивая раса людей древних времен. Всякий согласится, подобное отношение к природе составляет главный элемент язычества. Отношение же к человеку, моральный долг человека, хотя и он не отсутствует вполне в язычестве, является главным элементом уже более чистых форм религии. Это действительно великое различие, составляющее эпоху в человеческих верованиях. Здесь проходит великая демаркационная линия, разделяющая разные эпохи в религиозном развитии человечества. Человек прежде всего устанавливает свои отношения к природе и ее силам, удивляется им и преклоняется перед ними. Затем, в более позднюю эпоху, он узнает, что всякая сила представляет моральное явление, что главной задачей для него является различение добра от зла, того, что «ты должен», от того, чего «ты не должен».

Относительно всех этих баснословных описаний, встречающихся в «Эддах», как было уже сказано, вероятнее всего будет допустить, что они позднейшего происхождения. Вероятнее всего, они с самого же начала не имели особенно большого значения для древних скандинавов, представляя нечто вроде игры поэтического воображения. Аллегория и поэтические описания, как я сказал выше, не могут составлять религиозного верования. Сначала должна быть вера сама по себе, и тогда уже вокруг нее нарастает аллегория, как надлежащее тело нарастает вокруг своей души. Древнескандинавское верование, я весьма склонен допустить, подобно другим верованиям, было наиболее действенным главным образом в период своего безмолвного состояния, когда о нем еще не толковали много и вовсе не слагали песен.

Сущность практического верования, какое человек в ту пору мог иметь и которое можно открыть в этих, подернутых туманом материалах, представляемых «Эддами», фантастически нагроможденной массе всяческих утверждений и традиций, их музыкальных мифах, сводилась, по всей вероятности, лишь к нижеследующему. К вере в валькирий и чертог Одина (Валхаллу), непреложный рок и то, что человеку необходимо быть храбрым.

Валькирии – избранные девы убитых. Неумолимая судьба, которую бесполезно было бы пытаться преклонить или смягчить, решала, кто должен быть убит. Это составляло основной пункт для верующего скандинава, как и для всякого серьезного человека повсюду – Магомета,

Лютера, Наполеона. Для всякого такого человека верование в судьбу лежит у самого основания жизни. Это ткань, из которой вырабатывается вся система его мысли. Возвращаясь к валькириям. Эти избранные девы ведут храбреца в надзвездный чертог Одина. Только подлые и раболепствующие погружаются в царство Хели, богини смерти. Таков, по моему мнению, дух всего древнескандинавского верования.

Скандинавы в глубине своего сердца понимали, что необходимо быть храбрым, Один не обнаружит к ним ни малейшей благосклонности, напротив, он будет их презирать и отвергнет, если они не будут храбры. Подумайте также, не заключают ли эти мысли в себе чего-либо ценного? Это – вечная обязанность, имеющая силу в наши дни, как и в те времена, обязанность быть храбрым.

Храбрость все еще имеет свою ценность. Первая обязанность человека до сих пор все еще заключается в подавлении страха. Мы должны освободиться от страха; мы не можем вообще действовать, пока не достигнем этого. До тех пор пока человек не придавит страха ногами, поступки его будут носить рабский характер, они будут не правдивы, а лишь правдоподобны: сами его мысли будут ложны, он станет мыслить целиком, как раб и трус. Религия Одина, если мы возьмем ее подлинное зерно, остается истинной и по сей час. Человеку необходимо быть, и он должен быть храбрым. Он должен идти вперед и оправдать себя как человека, вверяясь непоколебимо указанию и выбору высших сил, и прежде всего совершенно не бояться. Теперь, как и всегда, он лишь настолько человек, насколько побеждает свой страх²⁹.

Несомненно, отвага древних скандинавов носила крайне дикий характер. Снорри говорит, что они считали позором и несчастьем умереть не на поле битвы. Когда приближалась естественная смерть, они вскрывали свои раны, дабы Один мог признать в них воинов, павших в борьбе с врагом. Скандинавский князь при наступлении смерти приказывал перенести себя на корабль. Затем на корабле раскладывали медленный огонь и пускали его в море с распущенными парусами. Когда он выплывал на открытый простор, то пламя охватывало его и высоко вздымалось к небу. Таким образом, достойно хоронили себя древние герои, одновременно на небе и на океане! Дикая, кровавая отвага, но тем не менее отвага своего рода. Смелость же, во всяком случае, лучше, чем отсутствие всякой отваги.

А в древних морских князьях какая неукротимая суровая энергия! Они, как я представляю их себе, молчаливы, губы их сжаты. Сами, не сознавая своей беззаветной храбрости, эти люди не страшатся бурного океана с его чудовищами, не боятся ни людей, ни вещей; прародители наших Блейков и Нельсонов³⁰! У скандинавских морских князей не было своего Гомера, который бы воспел их. Между тем отвага Агамемнона представляется незначительной, и плоды, принесенные ею, ничтожными по сравнению с отвагою некоторых из них – например, Рольфа. Рольф, или Роллон, герцог Нормандский, дикий морской князь, до сих пор принимает известное участие в управлении Англией³¹.

Даже эти дикие морские скитания и битвы, длившиеся в течение стольких поколений, имели свой смысл. Необходимо было удостовериться, какая группа людей обладала наибольшей силой, кто над кем должен был господствовать. Между повелителями Севера я нахожу также князей, носивших титул «лесовалителей», лесных князей-рубщиков. В этом титуле кроется большой смысл. Я предполагаю, что многие из них, в сущности, были такие же хорошие лесные рубщики, как и воины. Хотя скальды говорят преимущественно о последнем и тем вводят в немалое заблуждение некоторых критиков. Ибо ни один народ не мог бы никогда прожить одной только войной, так как подобное занятие не представляется достаточно производительным!

Я предполагаю, что истинно хороший воин был чаще всего также и истинно хорошим дровосеком, изобретателем, знатоком, деятелем и работником на всяческом поприще, так как истинная отвага, вовсе не похожая на жестокость, составляет основу всего. Это было самое

законное проявление отваги. Она ополчалась против непроходимых девственных лесов, жестоких темных сил природы, чтобы победить природу. Не продолжаем ли и мы, их потомки, идти с тех пор все дальше и дальше в том же направлении? Если бы такая отвага могла вечно воодушевлять нас!

Человек Один, обладавший словом и сердцем героя и силой производить впечатление, ниспосланной ему с неба, раскрыл своему народу бесконечное значение отваги, указал, как благодаря ей человек становится богом. Народ его, чувствуя в сердце своем отклик на эту проповедь, поверил в его миссию и признал ее тем, что послано небом. А его самого, принесшего им эту весть, – божеством. Вот что, по моему мнению, составляет первоначальный зародыш древнескандинавской религии, из которого естественным порядком выросли всякого рода мифы, символические обряды, умозрения, аллегории, песни и саги. Выросли – как странно!

Я назвал Одина маленьким светилом, горящим и распространяющим свой преобразующий свет в громадном водовороте скандинавских потемок. Однако это были, заметьте, потемки живые. Это был дух всего скандинавского народа, пылкий, не получивший еще вполне определенного выражения, не культивированный, но жаждущий всего лишь найти себе членораздельное выражение и вечно двигаться все вперед и вперед по этому пути! Живое учение растет и растет. Первоначальное зерно – существенное дело. Каждая ветвь, склоняясь вниз, врастает в землю и становится новым корнем. Таким образом, при бесконечных повторениях мы получаем целый лес, заросль, порожденную всего лишь одним зернышком. Не была ли поэтому вся древнескандинавская религия до известной степени тем, что мы назвали «непомерно громадным отражением этого человека»?

Критики находят в некоторых скандинавских мифах, как, например, рассказе о творении и т. п., сходство с индусскими мифами. Корова Аудумла, «слизывающая иней со скал»³², напоминает им что-то индусское. Индусская корова, перенесенная в страну морозов! Довольно правдоподобно. Действительно, мы можем, не колеблясь, допустить, что подобные представления, взятые из самых отдаленных стран и из самых ранних эпох, окажутся родственными. Мысль не умирает, а только изменяется. Первый человек, начавший мыслить на этой нашей планете, был первоначальным творцом всего. И затем также второй человек, третий человек – нет, всякий истинный мыслитель до настоящих дней является в некотором роде Одним, он научает людей своему образу мышления, бросает отражение своего собственного лика на целые периоды мировой истории.

Я не располагаю достаточным временем, чтобы говорить здесь о характерных особенностях поэзии и отличительных достоинствах древнескандинавской мифологии, что к тому же и мало касается интересующего нас предмета. Некоторые дикие пророчества, встречаемые нами здесь, как, например, «Прорицание вельвы»³³ в «Старшей Эдде», имеют иносказательный, страстный, сибиллистический³⁴ характер. Но это – сравнительно праздные добавления к главному содержанию, добавления позднейших скальдов, людей, так сказать, развлекавшихся тем, что представляет главное содержание, а между тем их-то песни преимущественно и сохранились. В позднейшие века, я полагаю, они пели свои песни, создавали поэтические символы, как рисуют теперь наши современные художники-живописцы то, что не исходит уже более из самой глубины их сердца, что вовсе даже не лежит в их сердце. Этого обстоятельства никогда не следует упускать из виду.

Грей³⁵ в своих заметках относительно древнескандинавских легенд не дает нам, собственно, никакого понятия о них; не больше, чем Поп³⁶ о Гомере. Это вовсе не мрачный квадратный дворец из черного необтесанного мрамора, обвятый ужасом и страхом, как представляет себе Грей. Нет, древнескандинавское мировоззрение дикое и невозделанное, как северные скалы и пустыни Исландии. Но среди всех ужасов – сердечность, простота, даже следы доброго

юмора и здоровой веселости. Мужественное сердце скандинавов не отзывалось на театральную выпренность, они не имели времени для того, чтобы предаваться трепету.

Мне очень нравятся их здоровая простота, правдивость, прямота понимания. Тор «хмурит брови», охваченный истинно скандинавским гневом, «сжимает в руке своей молот с такой силой, что суставы пальцев побелели». Прекрасно обрисовывается также чувство жалости, чистосердечной жалости. Бальдр, «белый бог», умирает, прекрасный, благодетельный бог-солнце. Все в природе было испытано, но действительного лекарства не нашлось, и он умер. Фригга, мать его, посылает Хермода разыскать и повидать его. Девять дней и девять ночей он ездит по темным, глубоким долинам, в лабиринте мрака. Приезжает к мосту с золотой кровлей. Сторож говорит: «Да, Бальдр проходил здесь, но царство смерти там, внизу, далеко на север». Хермод едет дальше, проскакивает за ворота преисподней, ворота Хели. Видит действительно Бальдра, говорит с ним. Бальдр не может быть освобожден. Неумолимая Хель не отдает его ни Одину, ни другому богу. Прекрасный, благородный должен остаться здесь. Его жена изъявляет добровольное согласие идти и умереть вместе с ним. Они навсегда останутся там. Он посылает свое кольцо Одину, а Нанна, его жена, посылает свой наперсток Фригге на память. О горе!..

В самом деле, отвага всегда бывает также источником настоящей жалости, истины и всего великого и доброго, что есть в человеке. В этих фигурах нас сильно привлекает здоровая, безыскусная мощь древнескандинавского сердца. Разве не служит признаком правдивой честной мощи, говорит Уланд, написавший прекрасный «Опыт» о Торе, что древнескандинавское сердце находит себе друга в боге-громе; не страшится его грома и не бежит в страхе от него. Оно знает, что зной лета, прекрасного славного лета, должен неизбежно сопровождаться и будет сопровождаться громом! Древнескандинавское сердце любит Тора и его молот-молнию, играет с ним. Тор, летний зной, бог мирной деятельности, так же как и грома. Он – друг крестьянина. Его верный слуга и спутник – Тьяльви, ручной труд. Тор сам занимается всякого рода грубой ручной работой, он не гнушается никаким плебейским занятием; время от времени он делает набеги в страну ётунов, тревожит этих хаотических чудовищ мороза, покоряет их или по крайней мере ставит в затруднительное положение и наносит им урон. В некоторых из этих рассказов слышится сильный и глубокий юмор.

Тор, как мы видели, отправляется в страну ётунов, чтобы отыскать котелок Имира, необходимый богам, пожелавшим варить пиво. Выходит Имир, огромный исполин, с седой бородой, запорошенной инеем и снегом. От одного взгляда его глаз столбы превращаются в щепы. Тор, после долгих усилий и возни, схватывает котелок и нахлобучивает его себе на голову; «ушки котелка доходили ему до плеч». Скандинавский скальд не прочь любовно пошутить над Тором. Это тот самый Имир, коровы и быки которого, как открыли критики, представляют ледяные глыбы. Огромный, неотесанный гений-бробдингнэг, которому недостает только дисциплины, чтобы стать Шекспиром, Данте, Гете!

Все эти деяния древнескандинавских героев давно уже отошли в область прошлого. Тор, бог грома, превратился в Джека-победоносца, поражавшего исполинов³⁷; но дух, наполнявший их, все еще сохраняется. Как странно все растет, и умирает, и не умирает! За некоторыми побегими этого великого мирового дерева скандинавского верования возможно проследить до сих пор. Этот бедный Джек, вскормленник, в своих чудодейственных башмаках-скороходах; платье, сотканном из тьмы; со шпагой, пронзающей все преграды, – один из таких отпрысков. Этин-деревенщина и тем более красный Этин из Ирландии³⁸ в шотландских балладах. Они оба пришли из скандинавских стран. Этин, очевидно, это тот же ётун.

Шекспировский Гамлет – также отпрыск того же мирового дерева, в чем, по-видимому, не может быть никакого сомнения. Гамлет, Амлет, я нахожу, есть в действительности мифическое лицо. Его трагедия, отравление отца, отравление во сне посредством нескольких капель яда, влитых в ухо, и все остальное – это также скандинавский миф! Старик Саксон³⁹ превратил

его, как он имел обыкновение, в датскую историю. Шекспир, позаимствовав рассказ у Саксона, сделал из него то, что мы видим теперь. Это отпрыск мирового дерева, который разросся, разросся благодаря природе или случаю!

Действительно, древнескандинавские песни заключают в себе истину, сухую, вечную истину и величие, как неизбежно должно заключать их в себе все то, что может сохраняться в течение целого ряда веков благодаря одной лишь традиции. И это не только величие физического тела, гигантской массивности, но и грубое величие души. В сердцах древних скандинавов можно подметить возвышенную грусть без всякой слезливости; смелый, свободный взгляд, обращенный в самые глубины мысли. Они, эти отважные древние люди Севера, казалось, понимали то, к чему размышление приводит всех людей во все века, а именно, что наш мир есть только внешность, феномен или явление, а отнюдь не действительность. Все глубокие умы признают это – индусский мифолог, германский философ, Шекспир и всякий серьезный мыслитель, кто бы он ни был:

«Мы сотканы из той же ткани, что и сны!»⁴⁰

Один из походов Тора, поход в Утгард (Outer Garden – «внешний сад» – центральное место в стране ётунов), представляет особенный интерес в этом отношении. С ним были Тьяльви и Локи. После разных приключений они вступили в страну исполинов. Блуждали по равнинам, местам диким и пустынным, среди скал и лесов. С наступлением ночи они заметили дом, и так как дверь, которая в действительности занимала целую стену дома, оказалась открытой, то они вошли. Это было простое жилище, одна обширная зала, почти совершенно пустая. Они остались в ней. Как вдруг в самую глубокую полночь их встревожил сильный шум. Тор схватил свой молот, стал у двери и приготовился к борьбе. Его спутники метались в страхе, отыскивая какой-нибудь выход из этой пустынной залы. Наконец они нашли маленький закоулок и притаились там. Но и Тору не пришлось сражаться, так как с наступлением утра оказалось, что шум был не что иное, как храп громадного, но миролюбивого исполина Скрюмира, мирно почивавшего вблизи. То, что они приняли за дом, была всего лишь его перчатка, лежавшая в стороне. Дверь представляла собою запястье перчатки, а небольшой закоулок, где они укрылись, – большой палец. Вот так перчатка! Я замечу еще, что она не имела отдельных пальцев, как наши перчатки, кроме одного только большого; все остальные были соединены вместе – очень старинная, мужицкая рукавица!

Теперь они путешествовали постоянно вместе с Скрюмиром. Однако Тор продолжал питать подозрения, ему не нравилось обращение Скрюмира, и он решил убить его ночью, когда тот будет спать. Подняв свой молот, он нанес прямо в лицо исполину поистине громовой удар, достаточно сильный, чтобы расщепить скалы. Но исполин только проснулся, отер щеку и сказал: «Должно быть, упал лист?» Как только Скрюмир опять заснул, Тор снова ударил его. Удар вышел еще чище, чем первый; но исполин лишь проворчал: «Песчинка, что ли?» Тор в третий раз нанес удар обеими руками (вероятно, так, что «суставы пальцев побелели»), и ему казалось, что он оставил глубокий след на лице Скрюмира; но тот только перестал храпеть и заметил: «Должно быть, воробы вьют себе гнезда на этом дереве, что же это падает оттуда?»

Скрюмир шел своею дорогою и прибыл к воротам Утгарда, расположенного на таком высоком месте, что вам пришлось бы «вытянуть шею и откинуть голову назад, чтобы увидеть их вершину». Тора и его спутников впустили и пригласили принять участие в наступавших играх. При этом Тору вручили чашу из рога; ее нужно было осушить до дна, что, по словам великанов, составляло самое пустяшное дело. Делая страшные усилия, трижды принимаясь за нее, Тор пытался осушить ее, но почти без всякого сколько-нибудь заметного результата. Он – слабое дитя, сказали они ему. Может ли он поднять эту кошку? Как ни ничтожно казалось это дело, но Тор, при всей своей божественной силе, не мог справиться с ним: спина животного изгибалась, а лапы не отрывались от земли. Все, что он мог сделать, это приподнять одну только лапу. «Да ты вовсе не мужчина, – говорили жители Утгарда, – вот старая женщина, которая

поборет тебя!» Тор, уязвленный до глубины души, схватил эту старую женщину-фурию, однако не мог повалить ее на землю.

Но вот когда они покинули Утгард, главный ётун, вежливо провожая их, сказал Тору: «Ты потерпел тогда поражение, однако не стыдись особенно этого, здесь скрывается обман, иллюзия. Тот рог, который ты пытался выпить, было море. Ты произвел в нем некоторую убыль воды, но кто же может выпить его, беспредельное море! Кошка, которую ты пытался поднять, да это ведь была змея Мидгарда⁴¹, великая мировая змея, у нее – хвост во рту, она опоясывает весь сотворенный мир и поддерживает его. Если бы ты оторвал ее от земли, весь мир неизбежно обрушился бы и погиб в развалинах. Что же касается старой женщины, то это было время, старость, долговечность. Кто может вступить с нею в ратоборство? Нет такого человека и нет такого бога. Боги и люди, оно над всеми берет верх! А затем эти три удара, нанесенные тобою, – взгляни на эти три долины: они образовались от твоих трех ударов!»

Тор взглянул на своего спутника ётуна; это был Скрюмир. Это было, говорят скандинавские критики, олицетворение старой, хаотической, скалистой земли, а рукавица-дол представляла пещеру в ней! Но Скрюмир исчез. Утгард со своими высокими, как само небо, воротами рассеялся в воздухе, когда Тор замахнулся молотом, чтобы ударить по ним. И только слышался насмешливый голос исполина: «Лучше никогда более не приходи в царство ётунов».

Этот рассказ, как мы видим, относится к периоду аллегорий, полушуток, а не к периоду пророчеств и полного благоговения. Но как миф не включает ли он в себе настоящего старинного скандинавского золота? Металл необработанный, в том грубом виде, как он выходит из мифического горна, но более высокой пробы, чем во многих прославленных греческих мифах, сложенных гораздо лучше! Неудержимый, громкий смех бробдингнега, истинный юмор чувствуется в этом Скрюмире; веселость, покоящаяся на серьезности и грусти, как радуга на черной буре. Только истинно мужественное сердце способно смеяться подобным образом. Это мрачный юмор нашего Бена Джонсона, несравненного старого Бена. Он течет в крови нашей, думаю я, ибо отголоски его, хотя уже в другой форме, можно слышать и у американских обитателей лесов.

Крайне поразительную концепцию представляет также Рагнарёк⁴², конец или сумерки богов, в песне «Прорицание вельвы». По-видимому, здесь мы имеем дело с весьма древней пророческой мыслью. Боги и ётуны, божественные силы и силы хаотические, животные, после продолжительной борьбы и частичной победы первых, вступают наконец во всеобщий бой, охватывающий весь мир состязания. Мировая змея – против Тора, сила – против силы, до взаимного истребления. «Сумерки» превращаются во тьму, и гибель поглощает сотворенный мир. Погиб древний мир, погиб со своими богами. Но это не окончательная гибель. Должны возникнуть новые небеса и новая земля. Божество более возвышенное и справедливое должно воцариться между людьми.

Любопытно, что закон изменений, закон, запечатленный в самой глубине человеческого сознания, был, конечно, доступен своеобразному пониманию и этих древних серьезных мыслителей. Хотя все умирает, даже боги умирают, однако эта всеобщая смерть является лишь погасшим пламенем Феникса и возрождением к более величественному и лучшему существованию! Таков основной закон бытия для существа, созданного во времени, живущего в мире упований. Все серьезные люди понимали это и могут еще понимать до сих пор.

А теперь, в связи со сказанным, бросим беглый взгляд на последний миф о появлении Тора и закончим на этом. Я думаю, что миф этот – самого позднего происхождения из всех скандинавских легенд; скорбный протест против надвигавшегося христианства, укоризненно высказанный каким-нибудь консервативным язычником.

Короля Олафа жестоко порицали за его чрезмерную ревность в насаждении христианства. Конечно, я гораздо скорее стал бы порицать его за недостаток ревности! Он заплатился довольно дорого за свое дело. Он погиб во время восстания подвластных ему язычников, в

1033 году, в сражении при Стиклестаде близ Дронтгейма. Там стоит в течение уже многих веков главный на всем Севере кафедральный собор, посвященный в знак признательности его памяти как святому Олафу. Миф о Торе и касается этого события.

Король Олаф, христианский король, реформатор, плывет с надежным эскортом вдоль берегов Норвегии, из гавани в гавань, отправляет правосудие и исполняет всякие другие королевские обязанности. Оставляя одну из гаваней, плывущие заметили, как на корабль взошел какой-то прохожий с суровым выражением глаз и лица, красной бородой, величественной, мощной фигурой. Придворные обращаются к нему с вопросами; его ответы удивляют их своей тактичностью и глубиной; в конце концов его приводят к королю. Путник и с ним ведет не менее замечательную беседу, по мере того как они продвигаются вдоль прекрасных берегов. Но вдруг он обращается к королю Олафу со следующими словами: «Да, король Олаф, все это прекрасно вместе с солнцем, сияющим вверху. Ярко зеленеющее, плодородное, поистине прекрасное жилище для вас. И много тяжелых дней провел Тор, много свирепых битв выдержал он со скалистыми ётунами, прежде чем достиг всего этого. А теперь вы, кажется, задумали отвергнуть Тора. Король Олаф, будь осторожен!» – воскликнул путник, сдвинув свои брови; и когда окружавшие короля оглянулись, то нигде не могли уже отыскать его. Таково последнее появление Тора в этом мире!

Не представляет ли данный случай довольно убедительного примера, как вымысел может возникнуть, помимо всякого желания сказать непременно неправду? Таким именно образом объясняется появление громадного большинства богов среди людей. Так, если во времена Пиндара «Нептун был видим однажды во время Немейских игр», то этот Нептун был также «странником благородным, суровым на вид», созданным таким образом, чтобы его могли «видеть». В этом последнем слове язычества мне слышится что-то патетическое, трагическое. Тор исчезает. Весь скандинавский мир исчез и никогда уже более не возвратится. Подобным же образом проходят самые возвышенные вещи. Все, что было в этом мире, все, что есть, что будет, все должно исчезнуть, и нам приходится сказать всему свое печальное «прости».

Эта скандинавская религия, это грубое, но серьезное, резко выраженное освящение отваги (так мы можем определить ее) удовлетворяло старых отважных норманнов. Освящение отваги – это не что-либо низменное! Мы будем постоянно считать отвагу добром. Небесполезно было бы также для нас знать кое-что относительно древнего язычества наших отцов. Хотя мы и не сознаем этого, но старое верование, в соединении с другими, более высокими истинами, живет в нас до сих пор! Если мы познаем его сознательно, то это лишь сделает возможным для нас более тесные и ясные отношения к прошлому, нашему собственному достоинству в прошлом, ибо все прошлое, я настаиваю на том, есть достояние настоящего. Прошлое имело всегда что-либо истинное и представляет драгоценное достояние.

В различные времена, в различных странах всякий раз развивается какая-либо особенная сторона нашей общечеловеческой природы. Действительную истину представляет сумма всех их, но ни одна сторона сама по себе не выражает всего того, что развила до тех пор из себя человеческая природа. Лучше знать все их, чем ошибочно истолковывать. «К какой из трех религий вы питаете особенную приверженность?» – спросил Мейстер своего учителя. «Ко всем трем! – отвечал тот. – Ко всем трем, так как благодаря их соединению впервые возникает истинная религия»⁴³.

Беседа вторая Герой как пророк. Магомет: ислам

От первых грубых времен язычества скандинавов на Севере мы теперь перейдем к совершенно иной религиозной эпохе, совершенно иному народу – мусульманству арабов. Громадный переворот! Какая перемена, какой прогресс обнаруживается здесь в общем положении и в мыслях людей!

К герою теперь уже не относятся как к богу среди подобных ему людей, но как к Богом вдохновленному человеку, пророку. Это вторая фаза культа героев. Первая и древнейшая, мы можем сказать, прошла безвозвратно. В истории мира не будет никогда более человека, которого, как бы велик он ни был, остальные люди признавали бы за бога. Мало того, мы имеем даже полное основание спросить: действительно ли считала когда-либо известная группа человеческих существ богом, творцом мира, человека, существовавшего бок о бок с ними, всеми видимого? Вероятно, нет. Обыкновенно это был человек, о котором они вспоминали, которого они некогда видели. Но и этого никогда более не повторится. В великом человеке никогда уже более не будут видеть бога.

Грубой и большой ошибкой было считать великого человека богом. Но да позволено будет нам сказать вместе с тем, что вообще трудно бывает узнать, что он такое, кем следует считать его и как относиться к нему! В истории всякой великой эпохи самый важный факт представляет то, каким образом люди относятся к появлению среди них великого человека. Инстинкт всегда подсказывал, что в нем есть что-то божественное. Но должно ли считать его богом или пророком или кем вообще должно считать его? Это всегда вопрос громадной важности. Ответ, какой люди дают на него, является как бы маленьким окном, позволяющим нам заглянуть в самую суть умственного состояния данных людей. Ибо, в сущности, все великие люди, как они выходят из рук природы, представляют всегда одно и то же: Один, Лютер, Джонсон, Бернс. Я надеюсь показать, что, по существу, все они вылеплены из одной и той же глины. Благодаря лишь отношению, встречаемому ими со стороны людей, и формам, принимаемым ими, они оказываются столь неизмеримо различными.

Нас поражает поклонение Одну: повергаться и распростираться перед великим человеком в изнеможении от любви и удивления и чувствовать в своем сердце, что он – сын неба, бог!.. Это, конечно, довольно-таки несовершенно. Ну а такую встречу, например, какую мы оказали Бернсу, можем ли мы признать совершенной? Драгоценный дар, каким только небо могло одарить землю, человека – «гения», как выражаемся мы, душу человека, действительно посланного к нам небом с божественной миссией, – вот что расточали мы, как пустой фейерверк, пущенный для минутной забавы и затем превращенный нами в пепел, мусор и пустышку. Такое отношение к великому человеку я также не могу признать слишком совершенным! Тот же, кто вникнет глубже в суть дела, быть может, даже скажет, что случай с Бернсом представляет еще более безобразное явление, свидетельствует о еще более печальных несовершенствах в путях человечества, чем скандинавский способ почитания героев!

Беспомощное изнеможение, вызываемое любовью и удивлением, не представляло ничего хорошего. Но такое нерассуждающее, нет, неразумное, надменное отсутствие всякой любви, быть может, еще хуже! Почитание героев представляет явление, постоянно изменяющее свою форму. В разные эпохи оно выражается различно. Во всякую данную эпоху нелегко бывает найти для него надлежащую форму. Действительно, суть всего дела известной эпохи, можно сказать, заключается в том, чтобы найти эту надлежащую форму.

Мы останавливаем свой выбор на Магомете не потому, что он был самым знаменитым пророком, а потому, что о нем мы можем говорить свободнее, чем о других. Его никоим образом нельзя считать самым истинным из пророков; но, конечно, я признаю его за истинного пророка. И поскольку к тому же никому из нас не угрожает опасность увлечься исламом, то

я намерен сказать о нем все хорошее, что только могу сказать по справедливости. Для того чтобы проникнуть в его тайну, мы должны постараться узнать, что он думал о мире, и затем уже нам будет легче ответить на вопрос, как мир думал и думает о нем.

Действительно, наши ходячие гипотезы о Магомете, что будто бы он был хитрый обманщик, воплощенная ложь, его религия представляет лишь одно шарлатанство и бестолковщину, в настоящее время начинают терять кредит в глазах всех людей. Вся ложь, которую благонамеренное рвение нагромодило вокруг этого имени, позорит лишь нас самих. Когда Пококк спросил Гроция⁴⁴, где доказательства справедливости известной истории о голубе, дрессированном будто бы таким образом, что он прилетал клевать горох из уха Магомета, и сходявшем за ангела, диктовавшего ему веление свыше, – тот ответил, что никаких доказательств нет! Настало действительно время отбросить все это.

Слово, сказанное Магометом, служило путеводной звездой для ста восьмидесяти миллионов людей в течение двенадцати веков. Эти сто восемьдесят миллионов созданы Богом так же, как и мы. Число созданий Божиих, исповедующих по настоящее время слово Магомета, больше, чем число верующих в какое бы то ни было другое слово. Можем ли мы согласиться, чтобы то, во имя чего жила такая масса людей, с чем все они умирали, было лишь жалкой проделкой религиозного фокусника? Я со своей стороны не могу допустить ничего подобного. Я скорее поверю во многое другое, чем соглашусь с этим. Всякий чувствовал бы себя совершенно потеряннным и не знал бы, что подумать ему об этом мире, если бы шарлатанство действительно приняло такие грандиозные размеры и получило такую санкцию.

Увы, подобные теории весьма прискорбны! Если мы хотим понять что-либо в истинном творении Бога, мы должны отнестись к ним, безусловно, отрицательно! Они продукт скептического века; свидетельствуют о самом печальном расслаблении мысли, пустой, помертвелой жизни человеческого духа, – более безбожной теории, я думаю, никогда не слышала наша земля. Фальшивый человек создает религию? Как? Но ведь фальшивый человек не может построить даже простого дома из кирпича! Если он не знает свойств известкового раствора, обожженной глины и вообще всего, с чем ему приходится иметь дело, и если он не следит за тем, чтобы все было сделано правильно, то он воздвигает вовсе не дом, а груды мусора. Такое здание не простоит двенадцати столетий, вмещаая в себе сто восемьдесят миллионов жильцов; оно развалится тотчас же. Необходимо, чтобы человек находился в согласии с природой, действительно был в общении с природой, следовал законам ее, – в противном случае природа ответит ему: «Нет, вовсе нет!»

Правдоподобности правдоподобны, о, конечно! Калиостро, многочисленные Калиостро, знаменитые руководители мира сего, действительно благоденствуют благодаря своему шарлатанству – в течение одного дня. Они располагают как бы поддельным банковским билетом. Они успевают спустить его со своих недостойных рук, но не им, а другим приходится затем расплачиваться. Природа раздражается огненным пламенем, наступают французские и иные революции и возвещают со страшной правдивостью, что поддельные билеты – поддельны.

Но относительно великого человека, о нем в особенности, я берусь утверждать, что невозможно поверить, чтобы он мог быть неправдивым человеком. В этом, мне кажется, кроется главная основа его собственного существования и всего того, что он несет с собою в мир. Мирабо, Наполеон, Бернс, Кромвель, как и вообще всякий человек, способный сделать что-либо, были бы невозможны, если бы они прежде всего не относились вполне искренне к своему делу, не были, как я говорю, искренними людьми. Я сказал бы: искренность, глубокая, великая, подлинная искренность составляет первую характерную черту великого человека, проявляющего тем или иным образом свой героизм. Не та искренность, которая называет сама себя искреннею. О нет, это в действительности очень жалкое дело – пустая, тщеславная сознательная искренность, чаще всего вполне самодовольная.

Искренность великого человека – другого рода. Он не может говорить о ней, не знает ее. Мало того, я допускаю даже, что он склонен обвинять себя в неискренности, ибо какой человек может прожить день изо дня, строго следуя закону истины? Нет, великий человек не хвастает тем, что он искренен, далеко нет. Быть может, он даже не спрашивает себя, искренен ли он. Я сказал бы охотнее всего, его искренность не зависит от него самого, он не может помешать себе быть искренним! Великий факт существования велик для него. Куда бы он ни укрылся, он не может избавиться от страшного присутствия самой действительности. Его ум так создан. В этом прежде всего и заключается его величие. Вселенная представляется ему страшной и удивительной, действительной, как жизнь, действительной, как смерть. Если бы даже все люди забыли о ее истинной сущности и жили пустыми призраками, он не мог бы сделать этого. Огненный образ сияет вечно над ним своим ослепительным блеском. Он там, там, над ним, его невозможно отвергнуть! Таково, примите к сведению, мое первое определение великого человека. Маленький человек может также чувствовать то же самое, это достояние всех людей, созданных Богом; но великий человек не может жить без этого.

Такого человека мы называем оригинальным человеком; он приходит к нам из первых рук. Это вестник, посланный к нам с вестями из глубины неведомой бесконечности. Мы можем называть его поэтом, пророком, богом. Так или иначе, все мы чувствуем, что речи его не похожи на речи всякого другого человека. Непосредственное порождение внутреннего факта вещей, он живет и должен жить в ежедневном общении с ним. Ходячие фразы не могут скрыть от него этого факта. Следуя ходячим фразам, он становится слепцом, чувствует себя бездомным, несчастным; факт глядит на него пристально. Действительно, разве его речи не являются известного рода «откровением» – мы должны употребить это слово за неимением другого, более подходящего. Ведь он приходит к нам из самого сердца мира; представляет частицу первоначальной действительности вещей! Бог дал людям многочисленные откровения. Но разве не Бог также создал и этого человека? Не являет ли он нам собою позднейшее и новейшее из всех откровений? «Дыхание Всемогущего дает ему разумение»: мы должны прежде всего слушать его.

Итак, мы никоим образом не станем смотреть на Магомета как на что-то пустое и неестественное, как на жалкого честолюбца и сознательного обманщика; мы не можем представить его себе таким. Суровая весть, возвещенная им миру, была также действительной вестью, серьезным, глухо звучащим голосом, исходившим из неведомой глубины. Речь этого человека не были лживы. Не был лжив также и труд, совершенный им здесь, на земле. В нем не было ни малейшей суетности и призрачности. Он – огненная масса жизни, выброшенная из великих недр самой природы, чтобы зажечь мир. Творец мира так повелел. И ошибки, недостатки, даже неискренние поступки Магомета, если бы существование таких было когда-либо достаточно основательно доказано, не поколеблют этого основного для него факта.

Вообще мы придаем слишком большое значение заблуждениям; частности дела закрывают от нас действительную сущность. Заблуждения? В величайшее из них, сказал бы я, впадает тот, кто думает, что он вовсе не заблуждается. Читатели Библии в особенности, всякий согласится с нами, должны бы хорошо это знать. Кто назван здесь «человеком по сердцу самому Богу»? Древнееврейский царь Давид, совершивший немало прегрешений, самых темных преступлений; у него не было недостатка в грехах. Поэтому неверующие насмешливо спрашивают: так вот ваш человек, приходящийся по сердцу самому Богу? Такая насмешка, должен заметить, кажется мне совершенно призрачной. Что заблуждения, что несущественные частности жизни, если внутренняя тайна ее, угрызения, искушения, действительная борьба, часто обманчивая, никогда не прекращающаяся, если все это предается забвению?

«Не во власти идущего определить, куда направляет он свой шаг». Разве не раскаяние составляет самый божественный акт для человека? Самый большой смертный грех, говорю я, именно такая надменная мысль о полной безгрешности: это – смерть. Сердце, питающее

подобную мысль, порывает всякие связи с искренностью, скромностью и действительностью; оно мертво; оно «чисто», как чист безжизненный сухой песок. Жизнь и история Давида, как описаны они в его псалмах, по моему разумению, рисуют самым точным образом нравственное развитие человека и его работу на этой земле. Всякое искреннее сердце всегда отзовется на изображаемую здесь неустанную борьбу искренней человеческой души, стремящейся к тому, что хорошо, что есть наилучшего. Борьбу, часто обманчивую, жестоко обманчивую, приводящую к полному поражению, но никогда не прекращающуюся. Человек вечно возобновляет ее, стремясь со слезами, с раскаянием к поистине недостижимой цели.

Бедная человеческая природа! Когда человек идет, не совершает ли он действительно «ряда последовательных падений»? И человек ничто не может делать иначе. В этой дикой стихии жизни он должен бороться, чтобы двигаться вперед, и падать, глубоко падать; и постоянно со слезами, раскаянием, истекающим кровью сердцем подниматься, чтобы снова бороться и продвигаться все вперед и вперед. Весь вопрос в том, чтобы борьба его была заслуживающей доверия, неукротимой. Мы примиримся со многими печальными частностями, если только сущность дела представляет действительную истину. Частности сами по себе никогда не дадут нам возможности узнать, какова эта сущность. Я думаю, что мы неправильно будем оценивать заблуждения Магомета, даже как заблуждения, а тайны его никогда не познаем, пока будем иметь дело только с этими заблуждениями. Мы оставим все это в стороне и, признав, что он имел в виду нечто истинное, чистосердечно спросим себя, в чем состояло это истинное, в чем оно могло состоять.

Арабы, среди которых родился Магомет, были поистине замечательным народом. Их родина сама по себе также не менее замечательна: это страна, вполне достойная такого народа. Непрístupные, дикие скалы и горы, громадные суровые пустыни, прерываемые полосами прелестной зелени. Там, где вода – красота – зелень, благоухающие бальзаминные кусты, финиковые пальмы, ладанники. Подумайте только об этих обширных, захватывающих весь горизонт пустынных пространствах, покрытых песком; голых, молчаливых, напоминающих море пространствах, отделяющих одно обитаемое место от другого. Вы стоите здесь одни перед лицом вселенной. Днем солнце нещадно палит своим нестерпимым жаром. Ночью над вами разверзается величественная глубина небес, усеянная звездами.

Такая именно страна вполне соответствует народу решительному в своих действиях, с глубоким сердцем. Араб отличается чрезвычайной подвижностью, деятельным характером, но вместе с тем и крайней созерцательностью, восторженностью. Персов называют французами Востока, а арабов мы назовем итальянцами Востока. Богато одаренный, благородный народ. Народ с сильными, дикими чувствами и железной волею, достаточно могучей, чтобы сдерживать эти дикие чувства, – характерная особенность людей с благородными задатками, людей гениальных.

Дикий бедуин принимает путника в своем шатре и предлагает к услугам все находящееся там. Будь это даже его заклятый враг, он все-таки убьет своего жеребенка, чтобы накормить его, будет служить ему и оказывать святое гостеприимство в течение трех дней и проводит его благосклонно в путь. Затем в силу другого обычая, столь же священного, убьет его при первой возможности. Речь арабов отличается теми же особенностями, как и поступки. Они не болтливы, скорее даже молчаливы. Но они становятся красноречивыми, вдохновенными, когда считают нужным говорить. Серьезный, правдивый народ. Как известно, арабы родственны евреям. Но с неумолимой, ужасающей серьезностью евреев они соединяют приветливость и блеск, которых нет у последних. Во времена, предшествовавшие Магомету, у них существовали «поэтические состязания». Сэл⁴⁵ рассказывает, что в Окадхе, Южной Аравии, где происходили ежегодные торжища, по окончании торговых дел выступали поэты и между ними начиналось публичное состязание в пении. Дикий народ собирался, чтобы послушать их.

Этим арабам присуща одна еврейская черта, представляющая совокупность многих или даже всех высших достоинств человеческого духа, – то, что мы можем назвать религиозностью. С древнейших времен они проявляли ревность в почитании богов, сообразно, конечно, своему пониманию. Как сабеиты, они поклонялись звездам и многим другим объектам природы, признавая в них символы, непосредственные проявления Творца природы. Они заблуждались, но это не было одно сплошное заблуждение. Всякое творение Божие остается до сих пор в известном смысле символом Бога.

Не считаем ли мы, как я говорил выше, особенным достоинством способность видеть в любых предметах природы известный неисчерпаемый смысл, «поэтическую красоту», как мы выражаемся? Человек-поэт устаивается за то, что он говорит или поет, в своем роде почитания, хотя и слабо выраженного. Они, эти арабы, имели многих пророков, учителей. Каждый из них по силе своего разумения учительствовал в своем колене. Но разве действительно не сохранилось от древних времен благороднейшего памятника, еще до сих пор доступного каждому из нас, памятника преданности и благородной возвышенности духа, какие были присущи этому простому глубокомысленному народу?

Библейские критики, по-видимому, единогласно признают, что Книга Иова была написана именно здесь, в этой части земного шара. Помимо всяких предположений относительно ее происхождения, я считаю эту книгу величайшим из произведений, когда-либо написанных. Читая ее, действительно чувствуешь, что эта книга не еврейская. В ней господствует дух

благородного универсализма, отличный от духа благородного патриотизма и сектантства. Благородная книга, общечеловеческая книга! Она представляет первое по времени, древнейшее изложение вечной проблемы судеб человеческих и путей Господних, руководящих человеком здесь, на земле; и все это в таких свободных, плавных очертаниях. Книга великая в своей искренности, простоте, эпической мелодии и спокойствии примирения. Здесь чувствуется прозревающий глаз и кроткое, понимающее сердце. Книга вполне правдивая во всех отношениях: правдивый взгляд на все и правдивое понимание всего, материальных предметов точно так же, как и духовных. Вот – лошадь: «обвил ли ты ее шею громом-молнией» – она «смеется, когда потрясают копьём». Таких живых образов никогда с тех пор не рисовали. Возвышенная скорбь и примирение; древнейшая хоровая мелодия, исходящая из самого сердца человечества, столь преисполненная неги и величия, как летняя полночь, мир с его морями и звездами! Ни в Библии, ни вне ее, по моему мнению, нельзя найти ничего равного этой книге в литературном отношении.

Один из самых древних предметов всеобщего почитания среди идолопоклонствовавших арабов представлял Черный камень, до сих пор хранящийся в храме, называемом Каабой⁴⁶, в Мекке. Диодор Сицилийский⁴⁷, упоминая о Каабе, не оставляет никакого сомнения относительно того, что храм этот в его время, то есть за полстолетия до нашей эры, был самым древним и самым почитаемым. По мнению Сильвестра де Саси⁴⁸, можно с некоторой вероятностью допустить, что Черный камень был аэролит. В таком случае кто-нибудь из людей мог видеть, как он падал с неба! Он лежит теперь у источника Земзем⁴⁹. Кааба построен над камнем и источником.

Источник в любом месте представляет прекрасное, умиленное зрелище, как бы напоминая собою жизнь, выбивающуюся из-под земной тяжести. Тем сильнее производит он впечатление в этих знойных, сухих странах, где вода является первым условием всякой жизни. Источник Земзем получил название от журчания своих вод: «зем-зем». Думают, что это именно тот источник, который нашла Агарь, блуждая по пустыне вместе со своим маленьким Измаилом. А теперь аэролит и источник стали священными предметами, и над ними вознесся Кааба на тысячи лет.

Странное зрелище представляет этот храм Кааба! Он стоит и по сей час, облеченный в черное покрывало, которое султан ежегодно присылает для него. «Двадцать семь локтей высоты» Кааба, опоясанная двойным рядом колонн, с гирляндами ламп и причудливых орнаментов. Лампы будут возжжены и в эту наступающую ночь, чтобы снова сверкать под звездами. Доподлинный обломок давно прошедших веков. Это – Кебла⁵⁰ для всех мусульман. От Дели до Марокко глаза бесчисленного множества молящихся пять раз в день обращаются к нему, сегодня так же, как и во все дни. Это один из самых достопримечательных центров в человеческой истории.

Благодаря святости, приписываемой храму Каабе и источнику Агари, паломничеству к ним арабов всех племен Мекка стала расти и превратилась в город. Некогда это был большой город. Теперь он в значительной мере пришел в упадок. Окружающие природные условия не представляют никаких удобств для существования города. Мекка стоит в песчаной ложбине, вдали от моря, окруженная обнаженными, бесплодными холмами. Предметы потребления, даже хлеб, доставляются сюда из других местностей. Но масса скопившихся здесь пилигримов требовала помещений, и затем всякое место, куда стекается народ на богомолье, становится также местом торговли. Раз собрались в известном пункте богомольцы, торговцы не замедлят собраться там же. Повсюду, куда люди сходятся, имея в виду одну определенную цель, оказывается возможным заняться и другими делами, требующими одновременного присутствия многих.

Мекка стала ярмаркой на всю Аравию и, следовательно, главным рынком и складским пунктом для всей торговли, происходившей тогда между Индией и западными странами, Сирией, Египтом и даже Италией. Одно время население ее достигало 100 000 человек. Все это – скупщики, люди, занимавшиеся вывозом произведений Востока и Запада, а также поставщики зерна и провизии для местного населения. В отношении управления Мекка представляла собой нечто вроде аристократической республики, не без теократического оттенка.

Десять человек из главного колена, избираемые примитивным образом, управляли Меккой и были хранителями Каабы. Курейшиты считались во времена Магомета главным коленом; к нему принадлежала и семья Магомета. Весь остальной народ, разбитый на группы и разбросанный по пустыне, жил под управлением подобного же патриархального первобытного правительствa, состоявшего из одного или нескольких лиц. Все это были пастухи, перевозчики, торговцы, занимавшиеся также и грабежом, находившиеся чаще всего в состоянии войны с другими и между собою. Они были бы лишены всякой видимой связи, если бы не эти встречи у Каабы, на всеобщем обожании которой сходились все формы арабского идолопоклонства. Но внутреннее, нерушимое единство их вытекало главным образом из общности крови и языка.

Таким образом, арабы жили в течение многих веков неведомые всем. Народ с великими достоинствами, бессознательно выжидавший того дня, когда он мог бы стать известным всему миру. Их идолопоклонство, по-видимому, клонилось уже к упадку; во многом уже замечалось разложение и брожение. Темные слухи о событии величайшей важности, какое только когда-либо имело место в этом мире, жизни и смерти божественного человека в Иудее, событии, составляющем одновременно и признак, и причину неизмеримо глубокого переворота в жизни всех народов мира, достигли, с течением веков, также и Аравии. Но подобные слухи не могли сами по себе не вызвать здесь брожения.

При таких-то обстоятельствах среди арабского народа в 570 году нашей эры родился Магомет. Он происходил из семьи Хашемитов, из колена курейшитов, как мы сказали. Несмотря на бедность, семья была связана узами родства с выдающимися людьми своей страны. Почти сразу после своего рождения Магомет лишился отца, а шести лет также и матери, женщины замечательной по своей красоте, благородству и здравому смыслу. Его взял на попечение дед, старик, которому было уже сто лет. Хороший старик! Отец Магомета, Абдаллах, был его самым младшим и самым любимым сыном. Его старые, утомленные жизнью очи,

столетние очи, видели в Магомете потерянного и как бы возвратившегося назад Абдаллаха. Это было все, что осталось у него от Абдаллаха. Он сильно любил маленького мальчика-сироту и обыкновенно говаривал, что они должны позаботиться об этом прелестном ребенке, так как в их роде нет большей драгоценности. Умирая – Магомету было тогда всего лишь два года, – он оставил его на попечение Абу-Талеба, старшего дяди, ставшего теперь главой семьи. Этот дядя, человек, по всему видно, справедливый и разумный, дал Магомету прекрасное воспитание по арабским нравам того времени.

Когда Магомет подрос, он стал сопутствовать своему дяде в его торговых и иного рода поездках. Восемнадцати лет мы видим его уже в качестве ратника, сопровождающего на войну своего дядю. Несколькими годами раньше имела место, быть может, самая замечательная из всех его поездок, поездка на ярмарки в Сирию. Молодой человек в первый раз пришел здесь в соприкосновение с совершенно чуждым ему миром, имевшим для него бесконечную важность, – христианской религией. Я не знаю, что следует нам думать об этом «Сергии, несторианском монахе»⁵¹, у которого, как рассказывают, остановился он и Абу-Талеб, и насколько какой бы то ни было монах мог просветить еще столь юного человека. Весьма вероятно, что вся эта история относительно несторианского монаха крайне преувеличена. Магомету было тогда всего лишь четырнадцать лет. Он мог объясняться только на своем родном языке; и многое из того, что он встретил в Сирии, должно было пронестись в его голове странным и непонятным вихрем. Но глаза отрока были открыты. В его душу запало, несомненно, немало впечатлений, которые сохраняли пока крайне загадочный вид, чтобы потом, когда настанет время, вырасти какими-то неведомыми путями в воззрения, верования, интуиции. Эта поездка в Сирию послужила, вероятно, толчком, имевшим громадные последствия для Магомета.

Мы не должны упускать из виду еще одного обстоятельства: он не получил никакого школьного образования, совсем не имел того, что мы называем школьным образованием. С искусством писать только что ознакомились в ту пору в Аравии. По-видимому, следует считать доказанным, что Магомет не умел вовсе писать! Жизнь в пустыне со всеми ее испытаниями составляла все его воспитание. Все его познания относительно этой бесконечной вселенной неизбежно должны были ограничиваться лишь тем, что он мог видеть из своего темного угла собственными глазами и что мог уразуметь собственным умом, отнюдь не больше. Немалый интерес представляет, если только мы вдумаемся, этот факт полного отсутствия книг.

Магомет мог знать только то, что мог видеть сам или слышать из случайного людского говора в сумрачной аравийской пустыне. Мудрость, выработанная раньше, или на известном расстоянии от его местопребывания, была как бы сокровищем, не существовавшим вовсе для него. Из великих родственных душ, этих маяков, пылающих на таких громадных друг от друга расстояниях пространства и времени, ни одна непосредственно не сообщалась с этой великой душой. Он был одинок, затерянный далеко, в самых недрах пустыни. Так ему приходилось расти – наедине с природой и со своими собственными мыслями.

Но уже с раннего возраста в нем замечалась особенная сосредоточенность. Сотоварищи называли его Аль-Амином, «правоверным», человеком правды и верности, правдивым в том, что он делал, о чем говорил и думал. Они замечали, что он никогда не говорил попусту. Человек, скорее, скупой на слово, он молчал, когда нечего было говорить. Но когда он находил, что должно говорить, он выступал со своим словом мудро, искренне и всегда проливал свет на вопрос. Так только и стоит говорить!

В течение всей его жизни к нему относились как к человеку вполне положительному, побратски любящему, чистосердечному. Серьезный, искренний человек и вместе с тем любящий, сердечный, общительный, даже веселый. Он смеялся хорошим, добрым смехом. Существуют люди, смех которых отмечен такою же неискренностью, как и все, что они делают, люди, которые не умеют смеяться. Всякий слышал рассказы о красоте Магомета, о его красивом, умном, честном лице, смуглом и цветущем; черных сверкающих глазах. Мне также нравится эта вена

на лбу, которая раздувалась и чернела, когда он приходил в гнев: точно «подковообразная вена» в «Красной перчатке» Вальтера Скотта. Она, эта черная, раздувающаяся вена на лбу, составляла семейную черту в роде Хашимитов. У Магомета она была развита, по-видимому, особенно сильно. Самобытный, пламенный и, однако, справедливый, истинно благонамеренный человек! Полный дикой силы, огня, света, достоинства, совсем не культурный, совершающий свое жизненное дело там, в глубинах пустыни.

Он попал к Хадидже, богатой вдове, в качестве управляющего и снова ездил по ее делам в Сирию на ярмарки, умело и преданно устраивал все ее дела (с чем всякий легко согласится). Ее признательность, уважение к нему росли – одним словом, вся эта история относительно их любви, рассказанная нам арабскими авторами, – вполне возможная, прелестная история. Ему было двадцать пять лет, ей – сорок; но она все еще была красавицей! Женившись на своей благодетельнице, он, по-видимому, прожил с нею вполне мирно, чисто, любовно. Он действительно любил ее, и только ее одну, что сильно подрывает мнение, считающее его обманщиком. Это факт, что он прожил такой вполне обыденной, спокойной, ничем не выдающейся жизнью до тех пор, пока не спал горячий пыл его годов.

Ему исполнилось сорок лет, прежде чем он начал говорить о какой бы то ни было божественной миссии. Вся беспорядочность в его поведении, действительная или воображаемая, относится к тому времени, когда ему было уже за пятьдесят лет и не стало уже доброй Хадиджи. Все его «притязания» ограничивались до тех пор, по-видимому, лишь желанием жить честною жизнью. Он удовлетворялся своею «репутацией», то есть всего лишь добрым мнением соседей, знавших его. И только в старости, когда беспокойный жар его жизни уже весь перегорел и покой, который мир мог дать ему, получил для него главное значение, только тогда он вступил на «путь честолюбия». Изменив своему характеру, всему своему прошлому, превратился в жалкого, пустого шарлатана, чтобы завоевать себе то, что не могло уже более радовать его! Что касается меня, то я никоим образом не могу поверить этому.

О нет! Этот сын дикой пустыни, с глубоким сердцем, сверкающими черными глазами, открытой, общительной и глубокой душой, питал в себе совсем другие мысли. Он был далек от честолюбия. Великая молчаливая душа, он был одним из тех, кто не может не быть серьезным, по самой природе своей принужден быть искренним. В то время как другие совершают свой жизненный путь, следуя формулам и избитым шаблонам, и находят достаточное удовлетворение в такой жизни, этот человек не мог прикрываться формулами. Он общался только со своею собственной душою и действительностью вещей.

Великая тайна существования, как я уже сказал, со своими ужасами, своим блеском упорно глядела на него. Никакие ходячие фразы не могли скрыть от него этого невыразимого факта: «Вот – я!» Такая искренность, как мы называем ее, поистине заключает в себе нечто божественное. Слово такого человека является голосом, исходящим из самого сердца природы. Люди внимают, и должны, конечно, внимать, этому голосу больше, чем чему бы то ни было другому. Все другое по сравнению с ним – ветер. С давнего времени уже тысячи мыслей преследовали этого человека в его странствованиях и хождениях на богомолье: что такое я? Что такое эта бесконечная материя, среди которой я живу и которую люди называют вселенной? Что такое жизнь, что такое смерть? Чему я должен верить? Что я должен делать? Сумрачные скалы гор Хаарам и Синай, суровые песчаные пустыни не давали ответа на эти вопросы. Необъятное небо, молчаливо распростершееся над его головой, со звездами, мерцавшими синим блеском, также не давало ответа. Никакого ответа не находил он здесь. Собственная душа человека и та частица божественного вдохновения, которая живет в ней, вот кто должен был ответить.

Таковы вопросы, которые всем людям приходится задавать себе, и нам также, и искать ответа на них. Этот дикий человек чувствовал всю бесконечную важность мучивших его вопросов, по сравнению с которыми все остальное не имеет никакого значения. Диалектический жаргон греческих сект, смутные предания евреев, бестолковая рутина арабского идолопо-

клонства – все это не давало никакого ответа на означенные вопросы. Герой, повторяю, отличается прежде всего тем – и это мы действительно можем признать его первой и последней отличительной чертой, альфой и омегой всего его героизма, – что сквозь внешнюю видимость вещей он проникает в самую суть их. Традиция и обычай, почтенные ходячие истины, формулы – все они могут быть хорошими и плохими. Но за ними, выше их, стоит нечто другое, с чем все они должны сообразоваться, отражением чего все они должны быть, иначе они превращаются в идолов, «куски черного дерева, претендующие на божественность»; для серьезного ума – посмешище и омерзение.

Идолы, как они ни были раззолочены и несмотря на то что им прислуживали главные жрецы из племени курейшитов, не могли иметь никакого значения для такого человека. Хотя все люди живут, поклоняясь им, но что из этого? Великая действительность все стоит и упорно глядит на него. Он должен найти ответ, в противном же случае погибнуть злополучным образом. Теперь, немедленно, иначе ты никогда не будешь иметь более возможности найти его в течение всей вечности! Ответ на вопрос; ты должен найти ответ. Честолюбие? Что могла значить для этого человека вся Аравия, вместе с короной грека Ираклия, короной перса Хосрова⁵² и со всеми земными коронами, что все они могли значить для него? Совсем не о земном шло дело. Не о земле он хотел слышать, а о небе, которое вверху, и преисподней, которая внизу. Все короны и державы, каковы бы они ни были, что станется с ними через несколько быстротекущих лет? Быть шейхом Мекки или Аравии и держать в руках своих кусок позолоченного дерева – разве в этом спасение человека? Нет, не то, я решительно думаю, не то. Мы совершенно оставим ее, эту гипотезу об обмане, как не заслуживающую никакого доверия. К ней нельзя относиться даже терпимо. Напротив, она заслуживает нашего полного отрицания.

Ежегодно с наступлением месяца рамазана Магомет удалялся в пустынное место и проводил все это время в уединении и молчании. Таков действительно был обычай у арабов; обычай, достойный похвалы, вполне естественный и полезный, в особенности в глазах такого человека, как Магомет. Углубиться в самого себя среди молчаливых гор, сохранять молчание, чутко прислушиваться к «малейшим тихим голосам» – это в самом деле естественный обычай! Магомету шел сороковой год, когда он с наступлением рамазана удалился в пещеру на горе Харам, близ Мекки, чтобы провести этот месяц в молитве и размышлениях о великих вопросах. Там однажды он сказал своей жене Хадидже, которая со всем домохозяйством была на этот раз вместе с ним или неподалеку от него, что благодаря несказанной, особенной милости к нему неба он теперь все понял. Он не испытывает более сомнений, не блуждает в потемках, но все видит ясно.

Все эти идолы и обычаи, говорил он, не что иное, как жалкие куски дерева. Во всем и над всеми существует единый Бог, и люди должны бросить всех своих идолов и обратить свой взор к Нему. Бог – велик и нет ничего величественнее Его! Он – сама действительность. Деревянные идолы не являются ею. Он действительно существует. Он нас создал изначала веков. Он поддерживает нас и теперь. Мы и все сущее – только тени Его. Преходящая оболочка прикрывает вечный блеск. «Аллах акбар» – «Бог велик»; а затем также «Ислам» – мы должны подчиняться Богу. Вся наша сила заключается в покорном подчинении Ему, во всем, что Он ниспослал бы нам как в этом, так и в другом мире! Все, что Он посылает нам, будь это смерть или что-либо еще хуже смерти, все мы должны принимать за добро, наилучшее. Мы предаем себя на волю Божию.

«Если это ислам, – говорит Гете, – не живем ли мы все в исламе?» Да, все те из нас, кто ведет хоть сколько-нибудь нравственную жизнь, все мы живем так. Всегда признавалось за величайшую мудрость, чтобы человек не только покорялся необходимости, – необходимость заставит его подчиниться, – но знал и верил, что предписания необходимости – самые мудрые, лучшие. Они именно то, чего недоставало ему. Необходимо оставить безумную претензию исчерпать этот великий Божий мир ничтожной крупницей своего мозга и признать, что он,

этот мир, имеет действительно, хотя и на глубине, далеко не достигаемой лотом, опускаемым человеком, справедливый закон. Душу мира составляет добро, роль человека – приводить в соответствие свои поступки с законом целого и следовать ему в благоговейном молчании, не оспаривая, а повинуюсь как беспспорному.

Такова, говорю я, до сих пор единственная, известная людям, достоверная мораль. Человек поступает правильно, он непреоборим, добродетелен, он находится на пути к верной победе, когда связывает самого себя с великим, глубоко сокрытым мировым законом, невзирая на всяческие внешние законы, временные видимости, разные выкладки барышей и потерь. Он побеждает, когда работает рука об руку с великим основным законом, и не побеждает ни в каком другом случае. Первым условием для такой совместной работы, первым условием, чтобы попасть в течение великого закона, является, конечно, утверждение от всей полноты души, что закон этот существует, что он – благо, единственное благо! Таков дух ислама; таков, собственно, и дух христианства, ибо ислам можно определить как затемненную форму христианства: если бы не было христианства, не было бы и его.

Христианство также предписывает нам прежде всего полную покорность Богу. Мы отнюдь не должны прислушиваться к голосу плоти и крови, принимать во внимание пустые измышления, скорби и желания. Мы должны знать, что ничего не знаем. Самое скверное и самое жестокое вовсе не то, что кажется таким для наших глаз. Ко всему, выпадающему на нашу долю, мы должны относиться как к ниспосылаемому нам свыше Богом и говорить: все это добро, все это благо, Бог велик! «Даже если Он убьет меня, я все-таки буду верить в Него». Ислам на свой лад проповедует отрицание своего «я», уничтожение своего «я». А это до сих пор остается высочайшею мудростью, какую только небо открыло нашей земле.

Таков был свет, возможный при данных условиях, свет, снизошедший, чтобы осветить мрак души этого дикого араба. Поразительный, ослепляющий блеск, как бы исходящий от жизни и неба среди великого мрака, угрожавшего все превратить в смерть. Он называл его откровением и ангелом Джебраилом; но кто же из нас может сказать, как действительно следует назвать его? «Дыхание Всемогущего» – вот что «дает нам разумение». Знать, проникать в истину чего-либо – это всегда таинственный акт, о котором самые лучшие логики могут только лепетать, скользя по поверхности. «Не представляет ли вера, – говорит Новалис, – истинного Бога, возвещающего чудо?» То, что переполненная душа Магомета, воспламененная великой истиной, открытой ей, чувствовала всю важность, исключительную важность ее, весьма естественно. Провидение оказало ему несказанную милость, открыв великую истину, спасло его таким образом от смерти и мрака, и он был обязан, следовательно, возвестить ее всем людям. Вот что следует понимать под словами «Магомет – пророк Бога» и что также не лишено своего действительного значения.

Добрая Хадиджа, как мы легко можем представить себе, слушала его с удивлением и сомнением. Наконец она сказала: да, это все верно, что он говорит. Всякий легко поймет, какую безграничную благодарность к ней почувствовал в сердце своем Магомет. Она сделала много добра ему, но величайшим добром для него было именно то, что она уверовала в горячее слово, высказанное им после упорной борьбы. «Несомненно, – говорит Новалис, – мое убеждение становится бесконечно сильнее с того момента, когда другой человек признает его». Это была беспредельная милость. Он никогда не забывал доброй Хадиджи.

Много времени спустя Айша, его молодая любимая жена, женщина, действительно выделявшаяся среди мусульман своими достоинствами всякого рода и сохранявшая эти достоинства в течение всей своей долгой жизни, эта молодая, блестящая Айша однажды спросила его: «Ну, а теперь кто лучше: я или Хадиджа? Она была вдова, старая, утратившая уже все свои прелести; ты любишь меня больше, чем любил ее?» – «Нет, клянусь Аллахом! – отвечал Магомет. – Нет, клянусь Аллахом! Она уверовала в меня, когда никто другой не хотел верить. Она была единственным другом, который у меня был в этом мире!» Сеид, его раб, также уверовал

в него. Эти двое вместе с его юным двоюродным братом Али, сыном Абу-Талеба, составляли первых его прозелитов⁵³.

Он проповедовал свое учение то одному, то другому человеку. Но большинство относилось к нему с насмешкой, равнодушно. В течение первых трех лет, я думаю, он приобрел не больше тридцати последователей. Таким образом, он продвигался медленно вперед. Идти же вперед его побуждало то же, что в подобных обстоятельствах обычно побуждает таких людей. После трех лет незначительного успеха он собрал сорок человек из своих ближайших родственников и здесь объявил им, в чем заключалось его намерение. Он сказал, что должен распространить свое учение среди всех людей. Это – величайшее дело, единственное дело, и спросил, кто из них согласен последовать за ним? Среди наступившего затем всеобщего молчания и сомнения молодой Али, тогда еще шестнадцатилетний юноша, не будучи в состоянии сдерживать себя, вскочил и страстно, неистово закричал, что он согласен! Собрание, в котором находился Абу-Талеб, отец Али, не могло питать неприязненных чувств к Магомету; однако всем им казалось смешным это зрелище, когда пожилой невежественный человек с шестнадцатилетним юношей решались на предприятие, касающееся всего человечества, и они разошлись, смеясь. Тем не менее предприятие оказалось вовсе не смешным; это было весьма серьезное дело!

Что же касается молодого Али, то его все любили. Это был юноша с благородными задатками, которые он проявил в описанном эпизоде и продолжал проявлять в дальнейшей жизни. Юноша, полный страсти и пылкой отваги. Что-то рыцарское было в нем. Храбрый, как лев, он отличался также состраданием, правдивостью, привязанностью, достойными христианского рыцаря. Его умертвили в багдадской мечети. Он принял смерть из-за своего открытого благородства и доверия к благородству других. Раненный, он говорил, что если его рана окажется не смертельной, то убийцу следует простить. Но если он умрет, то убийцу должны убить тотчас же, чтобы они оба в одно время могли предстать перед Богом и удостовериться, кто из них был прав в этой расправе!

Магомет, само собою разумеется, своим учением задевал за живое всех курейшитов, хранителей Каабы, служителей идолов. Один или двое из влиятельных людей присоединились к нему. Его учение распространялось медленно, но все-таки распространялось. Естественно, он задевал и оскорблял каждого. Кто этот, дерзающий быть умнее всех нас, поносить всех нас, как безумных поклонников дерева? Абу-Талеб, его добрый дядя, уговаривал его, не может ли он хранить молчание, верить про себя, не беспокоить других, не возбуждать гнева старейших людей, не подвергать опасности себя и всех их, громогласно проповедуя свое учение?

Магомет отвечал: «Если бы солнце встало по правую его руку, а луна по левую и повелели ему молчать», то и тогда он не мог бы повиноваться! Нет, в той истине, которую он обрел, было нечто от самой природы, равное по своему значению и солнцу, и луне, и всему другому, что создала природа. Она сама собой будет возвещаться до тех пор, пока дозволит Всемогущий, несмотря на солнце, луну, несмотря на всех курейшитов, на всех людей, несмотря на все. Так должно быть, и иначе не может быть. Так отвечал Магомет и, говорят, «залился слезами». Он чувствовал, что Абу-Талеб относился тепло к нему, задача, за которую он взялся, была не из легких, это была суровая, великая задача.

Он продолжал проповедовать тем, кто хотел слушать его. Продолжал распространять свое учение среди пилигримов, приходивших в Мекку, приобретать то там, то здесь последователей. Беспрестанные споры, ненависть, явная и скрытая опасность сопровождали его повсюду. Сам Магомет находил защиту у своих могущественных родственников. Но все его последователи, по мере успехов пропаганды, должны были один за другим покинуть Мекку и искать себе убежища за морем, в Абиссинии. Курейшитами овладевал все больший гнев. Они составляли заговоры, давали друг другу клятвенные обещания умертвить Магомета своими собственными руками.

Абу-Талеп умер. Добрая Хадиджа также умерла. Магомету не нужно, конечно, наше сочувствие, но его положение в то время было поистине одно из самых ужасных. Он принужден был скрываться в пещерах, переодеваться, чтобы избегать опасностей, скитаться из одного места в другое. Бездомный, он постоянно опасался за свою жизнь. Не раз все, казалось, погибло для него, не раз все дело висело на волоске, и от того, испугается ли лошадь всадника и т. п., зависело, останется ли Магомет и его учение или же все кончится тотчас и о нем уже никогда более не будет слышно. Но не так должно было все кончиться.

На тринадцатом году своей пропаганды Магомет убедился, что все его недруги соединились против него. Сорок человек, по одному от каждого колена, связанные клятвой, только выжидали случая, чтобы лишить его жизни. Всякое дальнейшее его пребывание в Мекке было невозможно, и он бежал в город, называвшийся тогда Ятриб, где он имел нескольких последователей. В настоящее время город этот, в силу указанного события, называется Мединой, или «Мединатан-наби» – городом пророка. Он лежит в двухстах милях от Мекки по скалистой и пустынной дороге. Немалого труда стоило Магомету, находившемуся в крайне тяжелом настроении, что мы легко можем представить себе, добраться до этого города, где он встретил радушный прием.

Весь Восток ведет начало своего летосчисления от этого бегства – хиджры, – как называют его мусульмане. Первый год этой хиджры соответствует 622 году нашего летосчисления; Магомету было тогда уже 53 года. Он вступал уже в старческий возраст. Его друзья, один за другим, отпадали от него. Его одинокий путь усеян был опасностями. Внешние условия, одним словом, складывались для него совершенно безнадежно, и все погибло бы, если бы он не нашел опоры в собственном своем сердце. Так бывает со всеми людьми в подобных случаях.

До сих пор Магомет распространял свою религию единственно путем проповеди и убеждения. Но теперь он был вероломно изгнан из своей родной страны. Несправедливые люди не только не хотели внимать великой вести, возвещенной им именем неба, крику, исходившему из глубины его сердца, но даже не соглашались оставить его в живых, если он будет продолжать свое дело. Теперь дикий сын пустыни решился защищаться, как человек, как араб. Если курейшиты желали этого, то пусть будет так. Они не хотели внимать словам, имевшим бесконечную важность для них и для всех людей. Они решили попать ногами его дело и хотели пустить в ход открытое насилие, меч и смертоубийство. Хорошо, пусть же меч в таком случае решает дело! Еще десять лет жизни было в распоряжении Магомета. Он провел их в беспрестанных сражениях, отдавшись всецело кипучей работе и борьбе. Какой получился результат, мы знаем.

Много говорилось о распространении Магометом своей религии с мечом в руке. Без всякого сомнения, распространение христианства шло более благородным путем, путем проповеди и убеждения, чем мы по справедливости можем гордиться. Но вместе с тем мы сделаем грубую ошибку, если признаем подобное соображение за аргумент в пользу истинности или ложности известной религии. Действительно, меч, но при каких обстоятельствах обнажаете вы свой меч! Всякое новое мнение, при своем возникновении, представляет собственно меньшинство одного. В голове одного только человека – вот где оно зарождается. Лишь один человек во всем мире исповедует его. Таким образом, один человек выступает против всех людей. Если он возьмет меч и станет с мечом в руке проповедовать свою мысль, то это мало поможет ему. Вы должны сначала обрести себе меч!

Вообще всякое мнение стремится распространяться всеми путями, какими только может. Из того, что мы знаем о христианской религии, я не усматриваю, чтобы она всегда отвергала меч, даже и тогда, когда она уже обрела его. Обращение Карла Великого с саксами нельзя назвать мирной проповедью. Я не придаю особенного значения мечу; но, по моему мнению, всякому делу должно быть предоставлено отстаивать себя в этом мире мечом, словом, вообще всякими средствами, какими оно располагает или какие оно может заставить служить себе. Пусть оно распространяется путем проповеди, памфлетов, отстаивает себя, бросается в самую

отчаянную борьбу и действует клювом, когтями, всем, чем только может. Не подлежит сомнению, что оно не одолеет того, не должно быть побежденным в общем ходе развития. То, что лучше его, оно не может смести прочь. Оно может подавить только то, что хуже. В этой великой дуэли сама природа является третьей судьей, и она не может быть несправедливой. То, что коренится глубже всего в природе, мы называем самым истинным, именно это, а не что-нибудь другое, в конце концов и окажется в выигрыше.

Магомет и его успех представляют, однако, весьма подходящий случай, чтобы остановиться и показать, каким справедливым третьей судьей бывает природа, какое величие, глубину и терпимость являет она собою. Вы бросаете зерно пшеницы в лоно матери-земли. Ваши зерна нечисты, вместе с ними попадаются мякина, обрезки соломы, сор с гумна, пыль и всякий мусор. Не важно, вы бросаете их в справедливую землю. Она выращивает пшеницу и молчаливо поглощает весь этот мусор, таит его в себе. Она ничего не говорит о мусоре. Вырастает золотистая пшеница. Хорошая земля сохраняет молчание обо всем остальном. Она молча обращает и это все остальное на пользу и ни на что не жалуется! Так совершается все в природе!

Она правдива, не умеет лгать, и вместе с тем какое величие, какая справедливость, какая материнская доброта в этой правдивости. Она требует только одного, чтобы все жаждущее жить было искренне в своем сердце. Она будет покровительствовать всякому начинанию, если оно искренне, и нет, если оно неискренне. Во всем, чему она оказывала когда бы то ни было покровительство, вы чувствуете дыхание истины. Увы, не такова ли история всякой истины, даже самой величайшей, которая только когда-либо появлялась в этом мире? Тело у всякой из них несовершенно. Она – свет в потемках. К нам она принуждена являться воплощенной в голую логическую формулу, в виде некоторой лишь научной теоремы о вселенной. Такая теорема не может быть полной. Она неизбежно, в один прекрасный день, окажется неполной, ошибочной и, как таковая, должна будет погибнуть и исчезнуть. Тело всякой истины умирает, и, однако, в каждой истине, считаю я, существует душа, которая никогда не умирает, а, воплощаясь в новые, постоянно совершенствующиеся формы, живет вечно, как и сам человек. Таковы пути природы!

Подлинная суть истины никогда не умирает. Перед трибуналом природы главное значение имеет именно то, чтобы она была подлинной, была голосом, исходящим из ее великой глубины. Для природы не играет решающей роли то, что мы называем чистым или нечистым. Дело не в том, много ли, мало ли мякины, а в том, есть ли пшеница. Чистый? Я мог бы сказать многим людям: да, вы чисты. Вы достаточно чисты, но вы – мякина, неискренняя гипотеза, ходячая фраза, пустая формула. Вы никогда не прислушивались к биению великого сердца вселенной. Вы, собственно, ни чисты, ни нечисты. Вы – ничто, природе нечего делать с вами.

Религия Магомета, как мы сказали, представляет некоторую форму христианства. Действительно, если обратить внимание на ту дикую восхищенную пылкость, с какою она принималась к сердцу, веровали в нее! То я должен буду сказать, что это более высокая форма, чем жалкие сирийские секты, с их пустыми препирательствами относительно *Nomoiousion* и *Nomoousion*⁵⁴, наполнявшими голову ничего не стоящей трескотней, а сердце – пустотой и холодом!

Истина в учении Магомета перепутывается с чудовищными заблуждениями и ложью. Но не ложь, а истина, заключающаяся в нем, заставила людей верить в него. Он получил успех благодаря своей истине. Побочная, так сказать, ветвь христианства, но жизненная, в учении этом вы чувствуете биение сердца; это – не мертвенная крошка одной только бесплодной логики! Сквозь всю эту мусорную кучу арабских идолов, схоластической теологии, традиций, тонкостей, общих слов и гипотез, греческих и еврейских, с их пустой логической процедурой, напоминающей вытягивание проволоки, дикий сын пустыни, серьезный, как сама смерть и

жизнь, своим величественным, сверкающим взглядом проникал непосредственно в самую суть дела.

Идолопоклонство – ничто. Эти ваши деревянные идолы – «вы смазываете их маслом и натираете воском, и мухи липнут к ним», они – дерево, говорю я вам! Они ничего не могут сделать для вас. Они богохульное, бессильное притязание. Они внушат вам ужас и омерзение, раз вы узнаете, что такое они в действительности. Бог – един. Один только Бог имеет силу. Он сотворил нас. Он может погубить нас, он может даровать нам жизнь: «Аллах акбар» – «Бог велик». Поймите, что его воля – наилучшая воля для вас. Как бы ни казалась она прискорбной для вашей плоти и крови, вы в конце концов признаете ее самой лучшей, мудрой. Вы принуждены будете так поступать, как в этой жизни, так и в будущей. Вы не можете сделать иначе!

И затем, если дикие идолопоклонники уверовали в такое учение и приняли его со всем пылом своего горячего сердца, чтобы осуществлять в той форме, в какой оно дошло до них, – то я утверждаю, что оно стоило того, чтобы в него уверовать. В той или другой форме, утверждаю я, это до сих пор единственное учение, достойное того, чтобы в него верили все люди. Благодаря ему человек действительно становится первосвященником этого храма вселенной. Между ним и предписаниями Творца мира устанавливается гармония. Он работает, следуя высшим указаниям, а не противодействуя им понапрасну. Я не знаю по настоящее время лучшего (после христианского) определения долга, чем это. Всякая правда обуславливается именно такой совместной работой с действительной мировой тенденцией. Вы преуспеете благодаря такой работе (мировая тенденция преуспеть), вы хороши, вы на правильной дороге.

Номоiousion, Номоousion – пустое логическое препирательство. Тогда и раньше, и во всякое время можно препираться с собою сколько угодно и идти куда и как угодно. Существует нечто, и это нечто всякое подобное препирательство стремится выразить, если только оно может выражать что-нибудь. Если оно не успевает в этом, то не выражает ровно ничего. Дело не в том, правильно или неправильно сформулированы отвлеченные понятия, логические предложения, а в том, чтобы живые, реальные сыны Адама принимали все это к своему сердцу. Ислам поглотил все препиравшиеся из-за подобных пустяков секты. Я думаю, он имел право поступить таким образом. Он был сама действительность, непосредственно вылившаяся еще раз из великого сердца природы. Идолопоклонство арабов, сирийские формулы, все, не представлявшее в равной мере действительности, должно было погибнуть в пламени. Все это послужило, в разных смыслах, горючим материалом для того, что было огнем.

Во время свирепых войн и борьбы, наступивших после бегства Магомета из Мекки, он диктовал с перерывами свою священную книгу, так называемый Коран, или Чтение, «то, что предназначается для чтения». Этому произведению он и его ученики придавали громадное значение, вопрошая весь мир: разве оно не чудо? Мусульмане относятся к своему Корану с таким благоговением, какое немногие из христиан питают даже к Библии. Коран повсюду признается за образец, с которым должен сообразоваться всякий закон, всякое практическое дело. Это – книга, которой надлежит руководствоваться в размышлении и в жизни. Это – весть, вознесенная самим небом земле, чтобы она сообразовалась с нею и жила согласно ей. Книга, которая предназначается для того, чтобы ее читали. Мусульманские судьи решают дела по Корану. Всякий мусульманин обязан изучать его и искать в нем ответов на вопросы своей жизни. У них есть мечети, где Коран прочитывают ежедневно весь целиком; тридцать мулл попеременно принимают участие в этом чтении и прочитывают книгу от начала до конца в продолжение одного дня. Таким образом, голос этой книги в течение двенадцати столетий не перестает звучать ни на одну минуту в ушах и сердцах громадной массы людей. Говорят, что некоторые мусульманские ученые перечитывали ее по семьдесят тысяч раз!..

Всякий, кто интересуется «различиями в национальных вкусах», остановится на Коране как на весьма поучительном примере. Мы также можем читать его. Наш перевод, сделанный Сэлом, считается одним из самых точных. Но я должен сказать, никогда мне не приходилось

читать такой утомительной книги. Скучная, беспорядочная путаница, непереваренная, необработанная. Бесконечные повторения, нескончаемые длинноты, запутанности; невыносимая бестолковщина, одним словом! Одно только побуждение долга может заставить европейца читать эту книгу. Мы читаем ее с таким же чувством, с каким перебираем в государственном архиве массу всякого неудобочитаемого хлама в надежде найти какие-нибудь данные, проливающие свет на замечательного человека. Правда, нам приходится считаться с особенным неудобством: арабы находят в нем больше порядка, чем мы.

Последователи Магомета получили не цельное произведение, а отдельные отрывки, как они были записаны при первом своем появлении, – многое, говорят они, на бараньих лопатках, брошенных без всякого разбора в ящик. Они опубликовали его, не позаботившись привести все это в хронологический или какой-либо иной порядок и стараясь лишь, по-видимому, да и то не всегда, поместить наиболее длинные главы в самом начале. Таким образом, настоящее начало следует искать в самом конце, так как ранее написанные отрывки были вместе с тем и наиболее короткими. Если бы читать Коран в исторической последовательности, то, быть может, он не был бы так плох. Многие, говорят также они, написано в оригинале рифмой, – нечто вроде дикой певучей мелодии, что составляет весьма важное обстоятельство, и перевод, быть может, много теряет в этом отношении. Однако, приняв во внимание даже все эти оговорки, мы с трудом поймем, каким образом люди могли считать когда бы то ни было этот Коран книгой. Книгой, написанной на небе и слишком возвышенной для земли; хорошо написанной книгой, или даже книгой вообще, а не просто беспорядочной рапсодией, написанной, насколько дело касается именно этой стороны, невозможно скверно, так скверно, как едва ли была написана когда-либо другая книга! Это относительно национальных различий и особенностей вкуса.

Однако я бы сказал, вовсе уж не так трудно понять, каким образом арабы могли так сильно полюбить свою книгу. Когда вы выходите наконец из этого беспорядочного шума и гама Корана и оставляете его позади себя на некотором расстоянии, то истинный смысл книги начинает сам собою выясняться, и при этом раскрываются совершенно иные, не внешне литературные ее достоинства. Если книга исходит из самого сердца человека, она найдет себе доступ к сердцам других людей. Искусство и мастерство автора, как бы велики они ни были, в таком случае значат мало. Всякий согласится с характерной особенностью Корана – неподдельностью. Он представляет собственно книгу *bona fide*⁵⁵.

Придо⁵⁶ и другие, я знаю, видели в нем только собранное в один узел фиглярство. Глава за главой, говорят они, были написаны лишь для того, чтобы оправдать и обелить автора в длинном ряде прегрешений, поддержать его честолюбивые помыслы, прикрыть шарлатанство. Но поистине настало уже время бросить подобные рассуждения. Я не настаиваю на постоянной искренности Магомета: кто постоянно искренен? Но признаюсь, мне нечего делать с критиком, который в настоящее время стал бы обвинять его в предумышленном обмане, сознательном обмане, или даже в каком бы то ни было обмане вообще. Затем обвинять еще в том, что он жил исключительно в атмосфере сознательного обмана и написал этот Коран как выдумщик и фигляр!

Всякий искренний глаз, я думаю, будет читать Коран с совершенно иным чувством. В нем вылилось беспорядочное брожение великой, но грубой еще души человека, невежественного, непросвещенного, не умеющего даже читать, но вместе с тем пламенного, серьезного, страстно стремящегося высказать свои мысли. С какою-то захватывающею дух напряженностью он пытается высказаться. Мысли теснятся в его голове беспорядочною толпою. Желая высказать многое, он ничего не успевает сказать. Возникающие в его уме мысли не находят подходящих форм и выступают без всякой последовательности, порядка и связи. Мысли Магомета вовсе не отливаются в формы. Они вырываются неоформленные, в том виде, как борются и падают, в своем хаотическом, бессвязном состоянии.

Мы сказали «бестолковая». Однако природная бестолковость вовсе не составляет характерной особенности книги Магомета, это скорее природная некультивированность. Человек не научился говорить. Вечно спеша и под давлением неустанной борьбы он не имеет времени вынашивать в себе свои мысли и находить им соответствующие формы. Порывистая, задыхающаяся поспешность и запальчивость человека, сражающегося за жизнь и спасение в самом пылу битвы, – вот настроение, в котором он находится! Поспешность до самозабвения. Кроме того, сама необъятность мысли является помехой, и он не может отчеканить и выразить свою мысль. Ряд попыток ума, испытывающего подобное состояние, высказаться, попыток, окрашенных разными превратностями двадцатитрехлетней борьбы, то удачных, то неудачных, – вот что такое Коран!

Действительно, мы должны считать Магомета в эти двадцать три года центральной фигурой огромного мира, взволнованного всеобщей борьбой. Битвы с курейшитами и язычниками, распри среди приверженцев, измены собственного дикого сердца – все это точно кружило его в каком-то вечном водовороте. Его душа не знала ни минуты покоя. В бессонные ночи, как легко мы можем представить себе, дикая душа этого человека, потрясенная подобными вихрями, приветствовала всякий просвет к выходу из окружавших его затруднительных обстоятельств, как истинный свет, ниспосланный небом. Всякое решение, столь благословенное, необходимое для него в данный момент, представлялось ему внушением Джебраила.

Обманщик и фигляр? Нет, нет! Это великое огненное сердце, клокочущее и шипящее, подобно громадному горнилу мыслей, не было сердцем фигляра. Его жизнь была фактом для него. Божия вселенная – грозным фактом и действительностью. Он заблуждался. Но ведь это был человек некультурный, полуварвар, сын природы. Это был все еще, собственно, бедуин, таким и мы должны считать его. Но мы не станем и не можем видеть в нем жалкий призрак голодного обманщика, человека без глаз и сердца, решающегося на поносящее Бога мошенничество, подделку небесных документов, беспрестанно изменяющего своему Творцу и самому себе ради тарелки супа.

Искренность во всех отношениях, по моему мнению, составляет действительное достоинство Корана. Она-то и сделала его драгоценным в глазах диких арабов. Искренность, в конце концов, составляет первое и последнее достоинство всякой книги. Она порождает достоинства всякого иного рода. Только она одна и может породить достоинство какого бы то ни было рода. Любопытно, как среди всей этой бесформенной массы традиций, гнева, жалоб, душевных порывов в Коране проходит пульсирующая струя истинного непосредственного прозрения, которое мы можем признать почти за поэзию.

Содержание этой книги составляют голые пересказы традиций и, так сказать, импровизированная, пылкая, восторженная проповедь. Магомет постоянно возвращается к древним рассказам о пророках, насколько они сохранились в памяти арабов. Как пророк за пророком, пророк Авраам, Гад⁵⁷, Моисей, христианские и другие пророки появлялись среди то одного, то другого племени и предостерегали людей от грехов. Их встречали точно так же, как его, Магомета, что служило ему великой утехой. Все это он повторяет десять, быть может, двадцать раз, снова и снова, постоянно и надоедливо пересказывая, таким образом, одно и то же. Кажется, что повторениям этим никогда не будет конца. Мужественный Сэмюэл Джонсон, сидя на своем заброшенном чердаке, мог таким же образом выучить наизусть биографии разных писателей! Вот в чем заключается главное содержание Корана.

Но любопытно – всю эту грудю время от времени как бы пронизывают лучи света, исходящие от настоящего мыслителя и ясновидца. Он, этот Магомет, имеет верный глаз, способный действительно видеть мир. С уверенной прямою и грубой силой он умеет затронуть и наше сердце тем, что открылось его собственному сердцу. Я мало придаю значения этим восхвалениям Аллаха, восхвалениям, которые многие так ценят. Магомет позаимствовал их, я думаю, главным образом у евреев; по крайней мере они значительно уступают восхвалениям

этих последних. Но глаз, который проникает прямо в сердце вещей и видит истинную сущность, – это представляет для меня в высокой степени интересный факт; дар, получаемый непосредственно из рук великой природы. Она награждает им всякого, но только один из тысячи не отворачивается от него прискорбным образом. Это – искренность зрения, как я выражаюсь, пробный камень искреннего сердца.

Магомет не мог творить никаких чудес. Он часто нетерпеливо отвечал: я не могу сотворить никакого чуда. Я? «Я – народный проповедник», которому указано проповедовать это учение всем.

Однако мир, как мы сказали, с давних уже пор представлялся ему как великое чудо. Охватите одним взглядом мир, говорит он, не чудо ли он, это творение Аллаха. Поистине «знамение для вас», если только вы взглянете открытыми глазами! Эта земля, Бог ее создал для вас. «Он указал вам пути». Вы можете жить на ней, ходить в ту и другую сторону. Облака в знойной Аравии – для Магомета они были также настоящим чудом. Великие облака, говорит он, порожденные в глубоких недрах высшей необъятности, откуда приходят они? Они висят там, громадные, черные чудовища. Изливают свои дождевые потоки, «чтобы оживить мертвую землю». И трава зеленеет, и «высокие лиственные пальмы свешивают во все стороны пучки своих фиников – разве это не знамение?» Ваш скот – его тоже создал Аллах. Безгласные, работающие твари, они превращают траву в молоко; снабжают вас одеждой; поистине удивительные создания; с наступлением вечера они возвращаются рядами домой «и, – прибавляет он, – делают вам честь!».

Вот корабли, он говорит часто о кораблях, громадные движущиеся горы, они распускают свои полотняные крылья и рассекают, покачиваясь, воды, а ветер небесный гонит их все вперед и вперед. Вдруг они останавливаются и лежат недвижимы: Бог отозвал ветер; они лежат как мертвые и не могут двинуться! «Вам нужны чудеса?» – вскрикивает он. – Какое же чудо хотели бы вы видеть? Взгляните на себя, разве вы сами не представляете чуда? Бог создал вас, «сотворил из небольшого комочка глины». Несколько лет тому назад вы были ребенком, но пройдет еще несколько лет, и вас не будет вовсе. Вы красивы, сильны, умны, «чувствуете сострадание друг к другу». Но наступает старость, ваши волосы седеют, сила слабеет, вы разрушаетесь, и вот вас снова нет.

«Вы чувствуете сострадание друг к другу» – эта мысль сильно поражает меня. Аллах мог создать нас и так, что мы не питали бы сострадания друг к другу; что было бы тогда! Это – великая открытая мысль, непосредственное проникновение в самую суть вещей. В этом человеке явно обнаруживаются резко обозначенные черты поэтического гения, всего, что есть самого лучшего и самого истинного. Сильный необразованный ум; прозревающий, сердечный, сильный, дикий человек, – он мог бы быть и поэтом, и царем, и пастырем, и всякого другого рода героем.

Мир в его целом всегда представлялся его глазам чудом. Он видел то, что, как мы сказали выше, все великие мыслители, в том числе и грубые скандинавы. А именно – этот, столь величественный на вид материальный мир, в сущности, на самом деле – ничто. Видимое и осязаемое проявление божественной силы, ее присутствия – тень, отбрасываемая Богом вовне, на грудь пустой бесконечности, и больше ничего.

Горы, говорит он, эти громадные скалистые горы, они рассеются «подобно облакам». Они расплывутся, как облака в голубом небе, они перестанут существовать! Землю, говорит Сэл, он представлял себе, как все арабы, в виде необъятной равнины или гладкой плоскости, на которой приподняты горы для того, чтобы придать ей устойчивость. Когда настанет последний день, они рассеются «подобно облакам». Земля станет кружиться, увлекаемая собственным вихрем, устремится к гибели и, как прах или пар, исчезнет в пустоте. Аллах отдернет свою руку, и она перестанет существовать. Мировое могущество Аллаха, присутствие несказанной

силы, невыразимого сияния и ужаса, составляющих истинную мощь, сущность и действительность всякой вещи, какова бы она ни была, – вот что всегда, ясно и повсюду видел этот человек.

Это – то же, что понимает и современный человек под именем сил или законов природы. Но то, чего он не представляет уже себе в виде божественного или даже вообще единого факта, а лишь в виде ряда фактов, достаточно заурядных, имеющих хороший сбыт на рынке, любопытных, пригодных на то, чтобы приводить в движение пароход! В своих лабораториях, за своими знаниями и энциклопедиями мы готовы позабыть божественное. Но мы не должны забывать его! Раз оно будет действительно позабыто, я не знаю, о чем же останется нам помнить тогда. Большая часть знаний, мне кажется, превратилась бы тогда в сущую мертвечину, представляла бы сушь и пустоту, занятую мелочными препирательствами, чертополох в позднюю осень. Самое совершенное знание без этого есть лишь срубленный строевой лес. Это уже не живое растущее в лесу дерево, не целый лес деревьев, который доставляет, в числе других продуктов, все новый и новый строительный материал! Человек не может вообще знать, если он не поклоняется чему-либо в той или иной форме. Иначе его знание – пустое педанство, сухой чертополох.

Много говорилось и писалось по поводу чувственности религии Магомета – больше, чем можно было бы сказать по справедливости. Он допустил преступные, на наш взгляд, послабления, но не он их придумал. Они существовали до него, и ими пользовались, не подвергая их ни малейшему сомнению, с незапамятных уже времен в Аравии. Он, напротив, урезал, ограничил их, и не с одной только стороны, а с многих.

Его религия – вовсе не из легких: суровые посты, омовения, строгие многосложные обряды, моления по пяти раз в день, воздержание от вина – все это не вяжется с тем, что она «имела успех потому, что была легкой религией». Как будто действительное распространение религии может зависеть от этого! Как будто действительная причина, побуждающая человека придерживаться известной религии, может состоять в этом! Тот клеветает на людей, кто говорит, что их подвигает на героические поступки легкость, ожидание получить удовольствие или вознаграждение, своего рода засахаренную сливу, в этом или загробном мире!

В самом последнем смертном найдется кое-что благороднее таких побуждений. Бедный солдат, нанятый на убой и присягнувший установленным порядкам, имеет свою «солдатскую честь», отличную от правил строевой службы и шиллинга в день. Не отведать какой-либо сладости, а совершить благородное и высокое дело, оправдать себя перед небом как человека, созданного по подобию Божьему, – вот чего действительно желает самый последний из сынов Адама. Покажите ему путь к этому, и сердце самого забитого раба загорится героическим огнем. Тот сильно оскорбляет человека, кто говорит, что его привлекает легкость. Трудность, самоотвержение, мученичество, смерть – вот приманки, действующие на человеческое сердце. Пробудите в нем внутреннюю, действенную жизнь, и вы получите пламя, которое пожрет всякие соображения более низменного характера. Нет, не счастье, а нечто более высокое манит к себе человека, что вы можете наблюдать даже на людях, принадлежащих к суетной толпе: и у них есть своя честь и тому подобное. Религия может приобретать себе последователей, не потворствуя нашим аппетитам, а лишь возбуждая тот героизм, который дремлет в сердце каждого из нас.

Лично Магомет, несмотря на все то, что о нем говорилось, не был человеком чувственным. Мы сделаем большую ошибку, если станем рассматривать этого человека как обыкновенного сластолюбца, стремящегося к низким наслаждениям, даже вообще к наслаждениям какого бы то ни было рода. Его домашний обиход отличался крайней простотой. Ячменный хлеб и вода составляли его обычную пищу. Случалось, что по целым месяцам на его очаге вовсе не разводился огонь. Правверные последователи его справедливо гордятся тем, что он сам мог починить свою обувь, положить заплату на плащ. Человек бедный, упорно трудящийся, нимало не заботящийся о том, на что обыкновенные люди полагают столько труда. Нет, это

вовсе не низкий человек, сказал бы я. В нем было нечто поблагороднее, чем алчность какого бы то ни было рода, или иначе эти дикие арабы, толпившиеся вокруг него и сражавшиеся под его предводительством в течение двадцати трех лет, находившиеся постоянно в тесном общении с ним, не могли бы так благоговеть перед ним! Люди дикие, они то и дело вступали в распри между собою и обнаруживали во всех делах свирепую искренность. Не мог человек, лишенный истинного достоинства и мужества, повелевать такими людьми.

Они называли его пророком, говорите вы? Так, а между тем он стоял лицом к лицу к ним, ничем не прикрываясь, не окружая себя таинственностью. На виду у всех он клал заплату на свой плащ, чинил свою обувь, сражался, давал советы, приказывал. Они, конечно, видели, что это был за человек, как бы вы его ни называли! Ни одному императору с тиарой на голове не подчинялись так слепо, как этому человеку в плаще, зачиненном его собственными руками. И это суровое испытание длилось в течение двадцати трех лет. Я полагаю, что нужно обладать в некоторой мере истинным героизмом, чтобы выдержать такое испытание; само собою, разумеется, что это так.

Последними словами Магомета была молитва, бессвязное излияние сердца, рвущегося с трепетной надеждой к своему Создателю. Мы не можем сказать, что его религия сделала его хуже. Она сделала его лучше. Она сделала его хорошим, а не низким.

Существуют рассказы о его благородном поведении. Когда его известили о смерти дочери, он сказал совершенно искренне, выражаясь лишь по-своему, буквально то же, что говорили в подобных случаях христиане: «Господь дал, Господь взял. Да будет благословенно имя Господне». Подобным же образом он ответил и на весть о смерти Сеида, его возлюбленного освобожденного раба, второго человека, уверовавшего в него. Сеид был убит в Табукской войне⁵⁸, первом сражении Магомета с греками. Магомет сказал, что это было хорошо: Сеид совершил дело своего Господина; Сеид отправился теперь к своему Господину; все хорошо было для Сеида. Однако дочь Сеида застала его рыдающим над трупом. Старец, убеленный сединами, заливался слезами. «Что вижу я?» – воскликнула она. – «Ты видишь человека, оплакивающего своего друга».

За два дня до смерти он вышел из дому в последний раз и, придя в мечеть, спросил все-народно, не обидел ли он кого-нибудь? Пусть в таком случае отстегают его по спине бичом. Не должен ли он кому-нибудь? Здесь послышался голос: «Да, мне три драхмы», взятые при таких-то обстоятельствах. Магомет приказал заплатить. «Лучше быть опозоренным теперь, – сказал он, – чем в день всеобщего суда». Вы помните Хадиджу и это «нет, клянусь Аллахом!». Все эти эпизоды рисуют нам человека искреннего, нашего общего брата, которого мы понимаем по простевии двенадцати столетий, – истинного сына нашей общей матери.

Кроме того, я люблю Магомета за то, что в нем не было ни малейшего ханжества. Он, неотесанный сын пустыни, полагался только на самого себя. Он не претендовал на то, чем не был на самом деле. В нем вы не замечаете ни малейшего следа тщеславной гордыни. Но вместе с тем он и не заходит слишком далеко в своей покорности, он всегда таков, какой есть на самом деле, в плаще и обуви, зачиненных собственными руками. Он высказывает откровенно всяким персидским царям, греческим императорам то, что они обязаны делать. Относительно же самого себя – он знает достаточно хорошо «цену самому себе».

Война не на жизнь, а на смерть с бедуинами не могла обойтись без жестокостей, но не было также недостатка и в актах милосердия, благородной неподдельной жалости, великодушши. Магомет не прибегал к апологии одних, не хвастался другими. И те и другие вытекали из свободного внушения его сердца; и те и другие вызывались смотря по обстоятельствам места и времени.

Это отнюдь не сладкоречивый человек! Он поступает с открытою жестокостью, когда обстоятельства требуют того. Он не смягчает красок, не замазывает глаз! Он часто возвращается к Табукской войне. Его приверженцы, по крайней мере многие из них, отказались сле-

довать за ним. Они указывали на зной, паливший в ту пору, подоспевшую жатву и т. д. Он никогда не мог простить им этого. Ваша жатва? Она продолжается всего лишь один день. Что станет с вашей жатвою через целую вечность? Знойная пора? Да, был зной, «но в аду будет еще жарче!»

Иногда в словах его слышится грубый сарказм. Обращаясь к неверным, он говорит: в тот великий день ваши деяния будут вымерены, конечно, справедливой мерой. Они не будут взвешены в ущерб вам. Вы не будете иметь малого веса. Повсюду он устремляет свой взгляд на суть вещей, он видит ее. Временами пораженное сердце его как бы замирает в виду величия открывающейся перед ним картины. «Воистину», – говорит он. Это слово само по себе означает иногда в Коране целую мысль. «Воистину».

В Магомете нет и следа дилетантизма. Он занят делом ниспровержения и спасения, делом времени и вечности, и он исполняет его со смертельною серьезностью. Дилетантизм, предположительность, спекулирование и всякого рода любительское искательство истины, игра и кокетничанье с истиной – это самый тяжкий грех, мать всевозможных других грехов. Он заключается в том, что сердце и душа человека никогда не бывают открыты для истины. Человек «живет в суетной внешности». Такой человек не только сочиняет и утверждает ложь, но сам по себе есть ложь. Разумное нравственное начало, божественная искра, уходит глубоко внутрь и повергается в состояние полного паралича, превращаясь в живую смерть. В самой последней лжи Магомета больше истины, чем в истине подобного человека. Это – неискренний человек. Это – гладко отшлифованный человек, уважаемый при известных условиях времени и места. Безобидный, он никому не говорит жестоких слов. Совершенно чистый, как углекислота, которая вместе с тем – яд и смерть.

Мы не станем восхвалять нравственных предписаний Магомета и выставлять их лишь как самые возвышенные. Однако можно сказать, что им всегда присуща хорошая тенденция, что они действительно представляют предписания сердца, стремящегося к справедливому и истинному. Вы не найдете здесь возвышенного христианского всепрощения, предписывающего подставлять правую щеку, когда вас ударят по левой. Вы должны отомстить за себя, но вы должны делать это в меру, без излишней жестокости, не переходя за пределы справедливости.

С другой стороны, ислам, как всякая великая религия, как всякое проникновение в сущность человеческой природы, ставит действительно на одну доску всех людей: душа одного верующего значит более, чем все земное величие царей. Все люди, по исламу, равны. Магомет настаивает не на благопристойности подавать милостыню, а на необходимости поступать так. Он устанавливает особым законом, сколько именно вы должны подавать из своего достатка, и вы действуете на свой страх, если пренебрегаете этой обязанностью. Десятая часть ежегодного дохода всякого человека, как бы ни был велик этот доход, составляет собственность бедных, немощных и вообще тех, кто нуждается в поддержке. Прекрасно все это: так говорит неподдельный голос человечности, жалости и равенства, исходящий из сердца дикого сына природы.

Рай Магомета исполнен чувственности, ад также – это правда. И в том и в другом немало такого, что неприятно действует на нашу религиозную нравственность. Но мы должны напомнить, что все эти представления о рае и аде существовали среди арабов до Магомета, последний только смягчил и ослабил их, насколько то было возможно.

Чувственность в ее самом худшем виде была также делом не его лично, а его учеников, последующих ученых. Действительно, в Коране говорится очень немного относительно радостей, ожидающих человека в раю. Здесь скорее только намек на них, чем определенное указание. Коран не забывает, что величайшие радости и в раю также будут иметь духовный характер. Простое лицезрение Высочайшего – вот радость, которая будет бесконечно превосходить всякие другие.

Магомет говорит: «Вашим приветствием пусть будет мир!» Salam – «мир вам»! Все разумные души жаждут и ищут его как благословения, хотя поиски их оказываются тщетными

здесь, на земле. «Вы будете сидеть на седалищах, с обращенными друг к другу лицами. Всякая злоба будет изгнана из ваших сердец». Всякая злоба!.. Вы будете любить друг друга свободно, без принуждения. Для каждого из вас, в глазах ваших братьев, достаточно будет места там, на небе!

Относительно вопроса о чувственном рае и о чувственности Магомета, представляющего самый затруднительный пункт для нас, следовало бы сказать многое, в обсуждение чего мы не можем, однако, войти в настоящее время. Я сделаю лишь два замечания и затем предоставлю все дело вашему собственному беспристрастию. Для первого я воспользуюсь Гете, одним его случайным намеком, который заслуживает серьезнейшего внимания.

В «Странствиях Мейстера» герой наталкивается на сообщество людей с крайне странными правилами жизни, состоявшими, между прочим, в следующем. «Мы требуем, – рассказывает учитель, – чтобы каждый из принадлежащих к нам ограничивал сам себя в каком-либо отношении». Шел бы решительно против своих желаний в известной мере и заставлял бы себя делать то, чего он не желает, – если не хочет. «Чтобы мы разрешили ему большую свободу во всех других отношениях»⁵⁹. Мне кажется, что это правило в высшей степени справедливо. Наслаждаться тем, что приятно, – в этом нет ничего преступного. Скверно, если мы даем наслаждениям поработить наше моральное «я». Пусть человек покажет вместе с тем, что он господин над своими привычками, может и хочет быть выше их, всякий раз, как это потребует. Это – превосходное правило. Месяц рамазан, как в религии Магомета, так и в его личной жизни, носит именно такой характер, если не по глубоко продуманной и ясно осознанной цели морального самоусовершенствования, то по известному здоровому, мужественному инстинкту, представляющему также не последнее дело.

Но относительно магометанского неба и ада следует сказать еще вот что. Как бы грубы и материалистичны ни казались эти представления, они служат эмблемой возвышенной истины, которую не многие другие книги так хорошо напоминают людям, как Коран. Этот грубый чувственный рай, страшный пылающий ад, великий чудовищный день судилища, на котором он постоянно так настаивает. Что все это, как не грубое отражение в воображении грубого бедуина духовного факта громадной важности, изначального факта, именно: бесконечной природы долга?

Деяния человека здесь, на земле, имеют бесконечное значение для него, они никогда не умирают и не исчезают. Человек в своей короткой жизни то поднимается вверх до самых небес, то опускается вниз в самый ад и в своих шестидесяти годах жизни держит страшным и удивительным образом сокрытую вечность, – все это как бы огненными буквами выжжено в душе дикого араба. Все это начертано там как бы пламенем и молнией – страшное, невыразимое, вечно предстоящее перед ним. С бурной страстностью, дикой непреклонной искренностью, полуотчеканивая свои мысли, не будучи в состоянии отчеканить их вполне, он пытается высказать, воплотить их в этом небе, этом аде. Воплощенные в любой форме, они говорят нам о главнейшей из всех истин. Они заслуживают уважения под всевозможными оболочками. Что составляет главную цель человека здесь, на земле? Ответ Магомета на этот вопрос может пристыдить многих из нас! Он не берет, подобно Бентаму⁶⁰, справедливое и несправедливое, не высчитывает барышей и потерь, наибольшего удовольствия, доставляемого тем или другим, и, приведя все это путем сложения и вычитания к окончательному результату, не спрашивает вас: не перевешивает ли значительно в общем итоге справедливое?

Нет, дело вовсе не в том, что лучше делать одно, чем делать другое. Одно по отношению к другому все равно что жизнь по отношению к смерти, небо по отношению к аду. Одно никоим образом не следует делать, другое никоим образом не следует оставлять незавершенным. Вы не должны измерять правды и неправды: они несоизмеримы. Одно – вечная жизнь для человека; другое – вечная смерть. Бентамовская польза, добродетель сообразно выгоде и потере⁶¹ низ-

водит этот Божий мир к мертвенной, бесчувственной паровой машине, необъятную небесную душу человека – своего рода к весам для взвешивания сена и чертополоха, удовольствий и страданий. Если вы спросите меня, кто из них, Магомет или указанные философы, проповедуют более жалкий и более лживый взгляд на человека и его назначение в этом мире, то я отвечу: во всяком случае, не Магомет!..

В заключение повторяем: религия Магомета представляет собой своеобразную побочную ветвь христианства. Ей присущ элемент подлинного. Несмотря на все ее недостатки, в ней просвечивается наивысшая и глубочайшая истина. Скандинавский бог Уиш, бог всех первобытных людей, разросся у Магомета в целое небо. В небо, символизирующее собою священный долг и доступное лишь для тех, кто заслуживает его верою и добрыми делами, мужественною жизнью и божественным терпением, которое свидетельствует, в сущности, лишь о еще большем мужестве.

Эта религия – то же скандинавское язычество с прибавлением истинно небесного элемента. Не называйте ее ложной, не выискивайте в ней лжи, а останавливайте ваше внимание на том, что есть в ней истинного. В течение истекших двенадцати столетий она была религией и руководила жизнью пятой части всего человечества. Но что важнее всего, она была религией, действительно исповедуемой людьми в глубине сердца. Эти арабы верили в свою религию и стремились жить по ней. После первых веков мы не встречаем на протяжении всей истории, исключая разве английских пуритан в новейшие времена, таких христиан, которые стояли бы так же непоколебимо за свою веру, как мусульмане, так же всецело веровали бы. Вдохновляясь ею, бесстрашно становились бы лицом к лицу со временем и вечностью. И в эту ночь дозорный на улицах Каира на свой окрик: «Кто идет?» – услышит от прохожего слова: «Нет Бога, кроме Бога [Аллаха]».

«Аллах акбар», «Ислам» – слова эти находят отзвук в душах миллионов этих смуглых людей, в каждую минуту их повседневного существования. Ревностные миссионеры проповедуют их среди малайцев, черных папуасов, звериных идолопоклонников. Заменяя, таким образом, худшее, можно сказать, полную пустоту, лучшим, хорошим.

Для арабского народа эта религия была как бы возрождением от тьмы к свету. Благодаря ей Аравия впервые начала жить. Бедный пастушеский народ, никому не ведомый, скитался в своей пустыне с самого сотворения мира. Герой-пророк был ниспослан к нему со словом, в которое он мог уверовать. Смотрите, неведомое приобретает мировую известность. Малое становится всесветно великим. Менее чем через столетие Аравия достигает уже Гранады с одной стороны и Дели – с другой. Сияя доблестью, блеском и светом гения, Аравия светит в течение долгих веков на громадном пространстве земного шара.

Вера – великое дело, она дает жизнь. История всякого народа становится богатой событиями, великой, она приподымает душу, как только народ уверует. Эти арабы, этот Магомет-человек, это одно столетие – не является ли все это как бы искрой, одной искрой, упавшей на черный, не заслуживавший, как казалось, до тех пор никакого внимания песок. Но смотрите, песок оказывается взрывчатым веществом, порохом, и он воспламеняется, и пламя вздымается к небу от Дели до Гранады! Я сказал: великий человек является всегда, точно молния с неба; остальные люди ожидают его, подобно горючему веществу, и затем также воспламеняются.

Беседа третья Герой как поэт. Данте. Шекспир

Герои-боги, герои-пророки – суть продукты древних веков. Эти формы героизма не могут более иметь места в последующие времена. Они существуют при известной примитивности человеческого понимания, но прогресс чистого научного знания делает их невозможными. Необходим мир, так сказать, свободный или почти свободный от всяких научных форм, для того чтобы люди в своем восхищенном удивлении могли представить подобного себе человека в виде бога или в виде человека, устами которого говорит сам Бог. Бог и пророк – это достояние прошлого. Теперь герои являются перед нами в менее притязательной, но вместе с тем и менее спорной, непреходящей форме: в виде поэта. Поэт как героическая фигура принадлежит всем векам; все века владеют им, раз он появится. Новейшее время может породить своего героя, подобно древнейшему, и порождает всякий раз, когда то угодно природе. Пусть только природа пошлет героическую душу, и она может воплотиться в образе поэта ныне, как и во всякое другое время.

«Герой», «пророк», «поэт» и многие другие названия даем мы в разные времена и при разных обстоятельствах великим людям, смотря по отличительным особенностям, подмечаемым нами у них, смотря по сфере, в которой они проявляют себя! Руководствуясь одним этим обстоятельством, мы могли бы дать им еще гораздо больше разных названий. Но я снова повторяю, поскольку это факт, заслуживающий внимания, подобное разнообразие порождается разнообразием сфер, герой может быть поэтом, пророком, королем, пастырем или чем вам угодно, в зависимости от того, в каких условиях он рождается.

Скажу прямо, я не могу вовсе представить себе, чтобы истинно великий человек в одном отношении не мог быть таким же великим и во всяком другом. Поэт, который может только сидеть в кресле и слагать стансы, никогда не создаст ни одной ценной строфы. Поэт не может воспевать героя-воина, если он сам по меньшей мере также не воин-герой. Мне представляется, что поэт в то же время и политик, и мыслитель, и законодатель, и философ. Он в той или иной степени может быть всем этим, он в действительности есть все это! Точно так же я не допускаю, чтобы Мирабо, это пылкое великое сердце, таившее в себе огонь и неукротимые рыдания, – не мог писать стихов, трагедий, поэм и трогать своими произведениями сердца людей, если бы обстоятельства жизни и воспитание привели его к тому.

Главная, основная особенность всякого великого человека в том, что он велик. Наполеон знал слова, которые можно приравнять к Аустерлицким битвам. Маршалы Людовика XIV были до известной степени также и поэтами. Речи Тюрэнна⁶² полны мудрости и жизненной силы, подобно изречениям Сэмюэла Джонсона⁶³. Великое сердце, ясный, глубоко проникающий глаз, – все в этом. Без них человек, работая в какой угодно сфере, не может достигнуть ни малейшего успеха. Говорят, что Петрарка и Боккаччо исполняли вполне успешно возлагаемые на них дипломатические поручения. Всякий легко может поверить этому: они ведь совершали дела, и немного потяжелее дипломатических!.. Бернс, богато одаренный певец, мог бы явить нам собою даже лучшего Мирабо. Шекспир – никто не скажет, чего бы он не мог сделать, и сделать притом самым наилучшим образом.

Конечно, существуют также и природные наклонности. Природа не создает всех великих людей, как вообще всех людей, по одному и тому же шаблону. Разнообразие наклонностей – несомненно. Но больше бесконечно еще разнообразие обстоятельств, и гораздо чаще нам приходится иметь дело именно с этим последним разнообразием. Здесь повторяется то же, что и с обыкновенным человеком при обучении его ремеслу. Вы берете человека, у которого способности не обнаружили еще резким и определенным образом и который может обучаться с одинаковым успехом тому или другому ремеслу, и делаете из него кузнеца, столяра, каменщика. С этих пор он становится уже тем или другим, но никем более.

И если вы, как замечает с чувством сожаления Аддисон⁶⁴, поставите рядом уличного носильщика, пошатывающегося на тонких ногах под тяжестью своей ноши, с портным, по своему телосложению напоминающим Самсона, знающим лишь кусок сукна и маленькую уайтчепельскую⁶⁵ иглу, то вам не придется долго размышлять о том, действовали ли в данном случае одни только природные наклонности! С великим человеком происходит то же. Вопрос в том, в какого рода науку будет отдан он? Герой дан, должен ли он стать завоевателем, королем, философом, поэтом? Это явится результатом невыразимо сложных и спорных расчетов между миром и героем. Он станет читать мир и его законы. Мир со своими законами будет перед ним, чтобы быть прочитанным. То, чему мир в этом деле даст совершиться, что он признает, составляет, как мы сказали, самый важный по отношению к миру факт.

Поэт и пророк, при нашем современном опошленном понимании их, представляются весьма различными. Но в некоторых древних языках эти два титула составляют синонимы: *vates*⁶⁶ означает и пророка, и поэта. И действительно, во все времена пророк и поэт, надлежащим образом понимаемые, имеют много родственного по своему значению. В основе они действительно и до сих пор одно и то же. Оба проникают в священную тайну природы, то, что Гете называет «открыто лежащим на виду у всех секретом», а это и есть самое главное.

В чем же, спросят, состоит этот великий секрет? Это – «лежащий на виду у всех секрет» – открыто лежащий для всех, но почти никем не видимый, – божественная тайна, которую проникнуто все, все существа, «божественная идея мира, лежащая в основе всей видимости», как выражается Фихте⁶⁷. Идея, для которой всякого рода внешние проявления, начиная от звездного неба и до полевой былинки, и в особенности человек и его работа, составляют только обличье, воплощение, делающее ее видимой. Эта божественная тайна существует во все времена и во всяком месте. Конечно, существует! Но чаще всего ее грубым образом не замечают. Мир, определяемый всегда в тех или иных выражениях, как реализованная мысль Господа, принимается за какую-то банальную, плоскую, инертную материю. Все равно как если бы, говорит сатирик, он был мертвою вещью, которую обладил какой-то мебелировщик!

В настоящее время, быть может, неуместно было бы говорить слишком много по этому поводу. Но достоин жалости тот, кто не понимает этого, не живет постоянно мыслью об этом. Достоин, повторяю, самой прискорбной жалости. Если мы живем иначе, так это – прямое свидетельство полного отсутствия в нас всякой жизни вообще!

Пусть другие забывают эту божественную тайну, но *vates*, говорю я, в виде ли пророка или поэта, проникает в нее. Он является человеком, ниспосылаемым на землю, чтобы сделать истину более понятной для нас. Такова всегда его миссия. Он должен открыть нам ее, эту священную тайну, присутствие которой он ощущает сильнее, чем всякий другой. В то время как другие не думают о ней, он знает ее. Я мог бы сказать: он вынужден знать. Для этого не требуется никакого согласия с его стороны: он находит, что живет ею, принужден жить.

Еще раз нам приходится иметь дело не с какими-нибудь ходячими фразами, а с непосредственным прозрением и верованием. Подобный человек также не может заставить себя быть неискренним! Всякий другой может жить среди призраков, но для него по самой силе вещей необходимо жить в самой действительности. Еще раз мы имеем дело с человеком, серьезно относящимся к миру, тогда как все другие лишь забавляются им. Он – *vates* прежде всего в силу того, что он – искренний человек. В этом отношении поэт и пророк, которым одинаково доступна «открыто лежащая тайна», представляют собою одно и то же.

Что же касается их различия, то мы можем сказать: *vates*-пророк схватывает священную тайну, скорее, с ее моральной стороны, как добро и зло, долг и запрет. *Vates*-поэт – с эстетической стороны, выражаясь языком немцев, как красоту и т. п.

Один раскрывает нам то, что мы должны делать, другой то, что мы должны любить. Но в действительности эти две сферы входят одна в другую и не могут быть разъединены. Пророк

также устремляет свой взор на то, что мы должны любить, иначе как бы он мог знать то, что мы должны делать?

Возвышеннейший голос, какой только люди когда-либо слышали на этой земле, сказал: «Посмотрите на полевые лилии... они не трудятся и не прядут, но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них»⁶⁸. Это – луч, брошенный в самую глубину глубин красоты. «Полевые лилии» одеты прекраснее, чем земные повелители: они произрастают там, в неведомой полевой борозде – прекрасный глаз, глядящий на вас из глубины необъятного моря красоты! Разве могла бы грубая земля произвести их, если бы сущность ее при всей своей видимой внешней грубости не представляла внутренней красоты? С этой точки зрения, следующие слова Гете, поражающие многих, могут иметь также свое значение. «Прекрасное, – говорит он, – выше, чем доброе. Прекрасное заключает в себе доброе». Истинно прекрасное, которое, как я сказал в одном месте, «отличается от фальшивого, как небо от свода, возведенного руками человеческими». Сказанным я и ограничусь относительно различия и сходства между поэтом и пророком.

В древние времена, равно как и в новые, мы находим немногих поэтов, которых люди признавали бы за вполне совершенные образцы, отыскивать ошибки у которых считалось бы своего рода изменой, – обстоятельство, заслуживающее внимания. Это – хорошо. Однако, строго говоря, это – одна лишь иллюзия. В действительности для каждого достаточно ясно, не существует абсолютно совершенного поэта. Поэтическую жилку можно отыскать в сердце каждого человека, но нет ни одного человека, созданного исключительно из поэзии.

Мы все поэты, когда читаем хорошо какую-либо поэму. Разве «воображение, содрогающееся от Дантова ада», не представляет такой же способности, лишь в более слабой степени, как и воображение самого Данте? Никто не в состоянии из рассказа Саксона Грамматика создать Гамлета, как это сделал Шекспир. Но каждый может составить себе по этому рассказу известное представление. Каждый, худо ли, хорошо ли, воплощает это представление в известном образе. Мы не станем терять времени на разные определения. Там, где нет никакого специфического различия, как между круглым и четырехугольным, всякие определения неизбежно будут носить более или менее произвольный характер. Человек с поэтическим дарованием, настолько развитым, чтобы стать заметным для других, будет считаться окружающими людьми поэтом. Таким же образом устанавливается критиками и известность мировых поэтов, которых мы должны считать совершенными поэтами. Всякий, поднимающийся столько-то выше общего уровня поэтов, будет казаться таким-то и таким-то критикам универсальным поэтом, как он и должен казаться. И однако это произвольное различие, и таким оно неизбежно должно быть. Все поэты, все люди причастны до известной степени началу универсальности, но нет ни одного человека, всецело сотканного из этого начала. Большинство поэтов погибает очень скоро в забвении, но и самый знаменитый из них, Шекспир или Гомер, не будет вечно памятен: настанет день, когда и он также перестанет жить в памяти людей!

Тем не менее, скажете вы, должно же быть различие между истинной поэзией и истинной непоэтической речью. В чем же состоит оно? По этому поводу было высказано много разных мыслей, в особенности позднейшими немецкими критиками, но из этого многого не все, однако, достаточно понятно с первого взгляда. Они говорят, например, что поэт носит в себе бесконечность, он сообщает *Unendlichkeit*, известный оттенок «бесконечности» всему, что пишет. Хотя эта мысль и недостаточно ясна, однако она заслуживает нашего внимания в вопросе вообще столь темном. Если мы вдумаемся хорошенько, то нам постепенно станет раскрываться некоторый смысл, заключающийся в ней. Я со своей стороны нахожу большой смысл в старинном вульгарном определении, что поэтическое произведение – это метрическое произведение, поэзия заключает в себе музыку, она есть пение.

В самом деле, всякий, пытающийся дать определение поэзии, может остановиться на указываемом нами с таким же правом, как и на всяком другом. Если произведение подлинно

музыкально, музыкально не только по сочетанию слов, но и в самом сердце, сущности своей, во всех мыслях и выражениях, вообще по всей своей концепции, – в таком случае оно будет поэтическим произведением. Если нет, то оно не будет таковым. «Музыкально» – как много заключает в себе это слово! Музыкальная мысль – мысль, высказанная умом, проникающим в самую суть вещей, вскрывающим самую затаенную тайну, именно – мелодию, которая лежит сокрытая, улавливающим внутреннюю гармонию единства, составляет душу всего сущего, то, чем всякая вещь живет и благодаря чему она имеет право существовать здесь, в этом мире. Все исходящее из глубины души мы можем считать мелодичным, и все это естественно выливается в пение. Пение имеет глубокий смысл. Кто сумеет выразить логическим образом действие, производимое на нас музыкой? Лишенная членораздельных звуков, из какой-то бездонной глубины исходящая речь, которая увлекает нас на край бесконечности и держит здесь несколько мгновений, чтобы мы заглянули в нее!

Мало того, всякой речи, даже самой шаблонной речи, свойствен до некоторой степени характер пения. Нет в мире такого прихода, жители которого не имели бы своего особенного приходского произношения – ритма или тона, которым они поют то, что хотят сказать! Выговор есть своего рода пение. Выговор всякого человека представляет известную особенность, хотя человек замечает обыкновенно только выговор других людей. Обратите внимание, всякая страстная речь становится сама собой музыкальной, превращается в утонченную музыку в сравнении с простой разговорной речью. Даже речь человека, находящегося в страшном гневе, становится пением, песнью. Все глубокое представляет, в сущности, пение. Оно, пение, составляет, по-видимому, самую сконцентрированную эссенцию нашего существа, а все остальное как бы одну лишь оберточную бумагу и шелуху! Оно – первоначальный элемент нашего существования и всего прочего.

Греки сочинили фантазию о гармонии сфер. Фантазия эта выражает чувство, которое испытывали они, заглядывая во внутреннее строение природы. Она показывает, что душу всех их голосов, способов выражения, составляла музыка. Итак, под поэзией мы будем понимать музыкальную мысль. Поэт тот, кто думает музыкальным образом. В сущности, все зависит от силы интеллекта. Искренность и глубина прогрева делают человека поэтом. Проникайте в вещи достаточно глубоко, и перед вами откроются музыкальные сочетания. Сердце природы окажется во всех отношениях музыкальным, если только вы сумеете добраться до него.

Vates-поэт, со своим мелодическим откровением природы, пользуется, по-видимому, не особенно завидным положением среди нас в сравнении с vates-пророком. Дело, которое он делает, и тот почет, который мы воздаем ему за его дело, представляются также, по-видимому, незначительными. Некогда героя считали богом; позже героя стали считать пророком; затем героя начинают считать всего лишь поэтом. Не следует ли отсюда, что великий человек в нашей оценке как бы постепенно, эпоха за эпохой, убывает? Мы принимаем его сначала за Бога, затем за человека, Богом вдохновленного. Затем в последующую фазу самое дивное его слово вызывает с нашей стороны лишь признание, что он – поэт, прекрасный мастер стиха, гениальный человек и т. п.! В таком виде представляется вообще наше отношение к герою, но мне кажется, что в действительности это не так.

Если мы всмотримся пристальнее, то, быть может, убедимся, что человек и в настоящее время относится с таким же совершенно особенным удивлением к героическому дарованию, как бы мы его ни называли, с каким он относился и во всякое другое время.

Если мы не считаем великого человека буквально божеством, то это потому, что наши понятия о Боге, как высшем недостижимом первоисточнике света, мудрости, героизма, становятся все возвышеннее, а вовсе не потому, что наша признательность за подобного рода дарование, обнаруживающееся у людей, падает все ниже и ниже. Об этом стоит подумать. Скептический дилетантизм, это проклятие настоящей эпохи, проклятие, которое не будет же тяготеть вечно над нами, действительно неуклонно совершает свое печальное дело и в этой высочай-

шей сфере человеческого существования, наше почитание великих людей, совершенно искаженное, затемненное, парализованное, представляется нам жалким, едва узнаваемым.

Люди поклоняются внешнему в великих людях, большинство не верит, чтобы в них было на самом деле нечто такое, перед чем следовало бы преклониться. Самое ужасающее, фатальное верование! Каждый, исповедующий его, должен дойти буквально до полного разочарования в человечестве. И однако вспомните, например, Наполеона! Корсиканский лейтенант артиллерии – таково внешнее его обличье. Тем не менее не повиновались ли ему, не поклонялись ли ему – на особый, конечно, лад? Все тиары и диадемы мира, взятые вместе, не могли добиться такого почитания!

Благородные герцогини и конюхи с постоянных дворов собираются вокруг шотландского крестьянина Бернса. Какое-то странное чувство подсказывает каждому из них, что они никогда не слышали человека, подобного ему, это вообще – человек. В глубине сердца все эти люди чувствуют, хотя и смутным образом, так как в настоящее время не существует общепризнанного пути для выражения подобного состояния. Чувствуют, говорю я, помимо даже воли, что этот крестьянин со своими черными бровями и сияющими, подобно солнцу, глазами, говорящий удивительнейшие речи, вызывающий смех и слезы, стоит по своему достоинству выше других, его нельзя сравнивать ни с кем. Не чувствуем ли и мы того же? А если бы теперь дилетантизм, скептицизм, пошлость и все это жалкое исчадие было отброшено прочь, – что и случится в один прекрасный день при помощи Божией, – если бы вера во все кажущееся была отброшена совершенно и заменена светлой верой в действительность, так что человек действовал бы только по одному импульсу такой веры и считал бы все прочее несуществующим, – какое бы тогда новое и более жизненное чувство пробудилось у нас к этому самому Бернсу!..

Однако разве мы не можем даже и в эпохи, подобные нашей, указать на двух истинных поэтов, если не обоготворяемых, то, во всяком случае, причисляемых к лику святых? Шекспир и Данте – это святые поэзии, поистине канонизированные, так что считается даже нечестным прикасаться к ним. Всеобщий инстинкт, никем не руководимый, идущий своим путем, несмотря на всяческие помехи и препятствия, привел к этому. Данте и Шекспир составляют исключительную пару. Они стоят отдельно, в своего рода царском уединении. Нет никого равного им, нет преемника им: известный трансцендентализм, слава, венчающая полное совершенство, осеняет их в общем сознании всего мира. Они канонизированы, хотя ни Папа, ни кардиналы не принимали в том никакого участия! Такова еще до сих пор, несмотря на все противодействующие влияния, несмотря на это отнюдь не героическое время, нерушимая сила нашего поклонения героизму.

Я остановлю несколько ваше внимание на этой паре, поэте Данте и поэте Шекспире, и, таким образом, то небольшое, что я могу сказать здесь о герое как поэте, найдет для себя самое подходящее истолкование.

Немало томов было исписано по поводу жизни Данте и его книги. Но в общем, результаты получились не особенно значительные. Биография Данте остается, так сказать, безвозвратно потерянной для нас. Человек невидный, скитающийся, удрученный скорбью, он за время своей жизни не обращал на себя особенного внимания. Да и из того, что знали о нем, большая часть растеряна в этот длинный промежуток времени, отделяющий его от нас. Прошло уже пять столетий с тех пор, как он перестал писать, как он умер.

Все комментаторы соглашаются, книга его сама по себе составляет самое существенное, что мы знаем о нем самом. Книга и, можно прибавить еще, портрет, приписываемый обыкновенно Джотто. Кто бы ни писал его, но достаточно взглянуть, чтобы тотчас же сказать, что это, должно быть, подлинно верный портрет⁶⁹. Лицо, нарисованное на этом портрете, производит на меня крайне сильное впечатление. Это, быть может, самое трогательное из всех лиц, какие я только знаю. Уединенное, нарисованное как бы в безвоздушном пространстве, с простым лавром вокруг головы. Бессмертная скорбь и страдание; изведенная победа, которая также бес-

смертна, – вся жизнь Данте отражается здесь! Я думаю, что это самое грустное лицо, какое только когда-либо было срисовано с живого человека; в полном смысле слова трагическое, трогающее сердце лицо. Мягкость, нежность, кроткая привязанность ребенка составляют как бы его фон; но все это застывает в противоречии, отрицании, отчужденности, гордом безысходном страдании.

Кроткая, эфирная душа смотрит на вас так сурово, непримиримо, резко, нелюдимо, точно заточенная в толстую глыбу льда! Вместе с тем это страдание молчаливое, молчаливое и презрительное. Изгиб губ говорит о божественном равнодушии к тому, что грызет сердце, как к чему-то ничтожному, не стоящему внимания, и указывает, что тот, кого оно имеет силу мучить и душить, выше страдания. Это – лицо человека, протестующего до конца, борющегося всю свою жизнь против целого мира и не сдающегося. Любовь превращается в негодование, в негодование непримиримое – спокойное, неизменное, молчаливое, подобное негодованию Бога! Глаз – он также смотрит с некоторого рода недоумением, вопросительно: почему мир таков? Это – Данте. Так он глядит, этот «голос десяти молчаливых веков», и так он поет «свою мистическую исповедимую песнь».

Немногие известные нам данные о жизни Данте подтверждают вполне то, о чем говорят его портрет и книга. Он родился во Флоренции в 1265 году и по рождению своему принадлежал к высшему классу общества. Образование, полученное им, было самое лучшее по тогдашним временам. Теология, аристотелевская логика, некоторые латинские классики проходились тогда в большом объеме, – все это давало немалый запас знания в известных областях мысли. Данте, при его способностях и серьезности, мы не можем в этом сомневаться, усвоил себе, конечно, лучше, чем большинство, все то, что надлежало усвоить в означенных предметах. Он отличался ясным и развитым пониманием и большой проницательностью. Таков был наилучший результат, который он сумел извлечь из изучения схоластиков. Он знал хорошо и обстоятельно все, что окружало его. Но в то время, в которое ему пришлось жить, когда не было книгопечатания и свободных сношений, он не мог знать хорошо того, что находилось от него на известном расстоянии. Маленький ясный светоч, превосходно освещавший окружающие предметы, тускнел и превращался в особого рода *chiaroscuro*⁷⁰

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.